

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Южный федеральный университет»

*На правах рукописи*

**Бондарева Анна Александровна**

**РОЛЬ СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

**(на материале русского судебного и художественного  
дискурсов рубежа XIX–XX вв.)**

Специальность – 5.9.8. Теоретическая, прикладная и  
сравнительно-сопоставительная лингвистика

Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата филологических наук

Научный руководитель –  
доктор филологических наук, профессор  
Меликян Вадим Юрьевич

Ростов-на-Дону – 2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.....	13
1.1. Трактовка понятия «литературный язык».....	13
1.2. «Языковой стандарт» VS «литературный язык»: интегральные и дифференциальные признаки.....	22
1.3. Развитие литературного языка.....	28
1.4. Литературный язык и дискурс. Дискурс и функциональный стиль.....	36
1.5. Виды убеждающих речей и риторические жанры; их роль в развитии литературного языка.....	42
Выводы.....	50
ГЛАВА 2. СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	52
2.1. Общая характеристика русского судебного красноречия конца XIX – начала XX вв.....	52
2.2. Роль художественной литературы в становлении литературного языка.....	56
2.3. Монологизм и диалогизм художественной литературы. Художественная литература как поле взаимодействия дискурсов.....	63
2.4. Влияние русской литературы на развитие судебного красноречия и судебного дискурса конца XIX – начала XX вв.....	70
2.5. Критическое изображение судебных речей и судебного дискурса в русской литературе конца XIX – начала XX вв.....	77
Выводы.....	85

ГЛАВА 3. ТОПИКА СУДЕБНЫХ РЕЧЕЙ РУБЕЖА XIX – XX вв. И РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.....	87
3.1. Система риторических топосов.....	87
3.2. Семантические топосы и развитие семантики.....	95
3.3. Прагматические топосы и обогащение лексики.....	108
3.4. Логические топосы и развитие синтаксиса.....	119
Выводы.....	135
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	137
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	143

## ВВЕДЕНИЕ

Проблема развития литературного языка всегда является центральной для лингвистики. Однако подавляющее большинство работ в этой области посвящены не механизмам его развития, а происхождению и истории формирования. Именно поэтому особенно **актуальным** видится изучение связи литературного языка с таким полемическим жанром риторики, как судебная речь. Судебное красноречие объединяет в себе элементы самых разных дискурсов, в том числе художественного, и активно их переосмысливает, адаптирует к своей коммуникативной задаче, превращаясь при этом в источник идей и предмет полемики для публицистов, мыслителей и писателей. Исследования в этой области актуальны ещё и потому, что в современной лингвистике обострилась дискуссия относительно необходимости (или отсутствия таковой) в строгом нормировании литературного языка. Изучение взаимодействия риторики и литературного языка позволит пересмотреть некоторые аспекты этой полемики и переоценить значимость для языка риторических жанров, подразумевающих реальный диалог.

В этой связи **проблема** влияния полемического жанра риторики – а именно судебного красноречия – на развитие литературного языка, его синтаксиса, лексики и семантики, представляется особенно значимой.

Взаимоотношение риторики и литературного языка по сей день остаётся малоизученной сферой. Существующие исследования преимущественно связаны с вопросами, которые находятся в границах отдельных дисциплин: риторики, логики, стилистики, теории аргументации, истории языка, теории дискурса (например: Кожина, 2008; Крысин, 2007; Клушина, 2011; Fairclough, 2012; Mustajoki, 2016 и др.).

В истории языкознания проблемы развития литературного языка привлекали внимание учёных преимущественно в историческом аспекте

(например: Ларин, 1975; Колесов, 1986; Успенский, 2002; Камчатнов, 2015). Изложенные В.В. Виноградовым (1972; 1982) и Л.В. Щербой (1957) идеи о природе литературного языка, путях его обогащения и специфике стилистического разнообразия развивались лингвистами на протяжении всей второй половины XX в. Здесь следует упомянуть исследования А.А. Алексеева (2013), Р.А. Будагова (1967), Г.О. Винокура (1959), Т.Г. Винокур (237). В тот же период членами Пражского лингвистического кружка разрабатывалась концепция, в рамках которой литературный язык понимался как адаптивная система, в развитие которой вносят вклад все члены языкового коллектива (например: Гавранек, 1967; Едличка, 1967; Матезиус, 1967; Мукаржовский, 1967). Позднее, на рубеже XX–XXI вв., развернулась полемика относительно приемлемости термина «языковой стандарт» и его соотношения с понятием «литературный язык» (например: Ворт, 2006; Крысин, 2007; Крысин, 2010; Швейцер, 1971).

Особую значимость для изучения развития литературного языка в последние годы приобрели исследования в области теории дискурса. Существенный вклад здесь был внесен Н.Д. Арутюновой (1998), Т.А. ван Дейком (1981; 1997), В.И. Карасиком (2018), Ю.С. Степановым (1995), Н. Фэйрклафом (2012) и др. Внимание исследователей привлекает и проблема взаимодействия дискурсов, которая нашла отражение в работах М. Бартесаги (2015), В. Бхатиа (2010), К. Кендлина (1997), У Цзяньго (2011).

Судебное красноречие второй половины XIX – начала XX вв. стало предметом пристального внимания ещё в конце XIX в., когда были предприняты попытки описать источники развития русского судебного красноречия, индивидуальные стили известных ораторов, проследить их связь с художественной литературой и литературной критикой. Эти вопросы нашли отражение в работах С.А. Андреевского (2000), И.В. Гессена (1914), Б.Б. Глинского (1897), К.И. Чуковского (2012) и др. Интерес исследователей к теме вернулся на рубеже XX–XXI вв., что видно по работам Д.Н. Ковалевой (2010), И.В. Логинова (2002), В.И. Смолярчука (1984).

Общие вопросы риторики, логики и риторической топики активно разрабатывались как западными, так и отечественными учёными на протяжении всего XX в. Именно во второй половине столетия были предприняты попытки переосмыслить элементы риторики и пересмотреть целый ряд теоретических вопросов. Эта тенденция видна на примере исследований Л. Битцера (1968), А.А. Волкова (2001), Дж. Кеннеди (1994), В.П. Москвина (2010), С.В. Начерной (2010), Х. Перельмана (2008; 2012), Г.Г. Хазагерова (2008) и др. Для настоящей диссертации особенно актуальными видятся новые гибкие подходы к топике и риторической логике, ориентированные не только на чисто аналитические, но и на практические задачи (например: Хазагеров, 2017; Leff, 2006; Пере, 2017).

**Объект** настоящего исследования – русское судебное красноречие конца XIX – начала XX вв.

**Предмет** – риторические общие места (топосы) как фактор развития литературного языка, обогащения его семантики, лексики и синтаксиса.

**Цель** исследования состоит в анализе роли убеждающих речей как сферы взаимодействия судебного и художественного дискурсов на развитие литературного языка. В соответствии с целью поставлены следующие **задачи**:

1) исследовать специфику влияния художественной литературы на судебное красноречие конца XIX – начала XX вв. и его становление как поля интердискурсивности;

2) описать типологию риторических топосов в судебных речах конца XIX – начала XX вв.;

3) изучить влияние семантических топосов на развитие семантики литературного языка;

4) проанализировать влияние прагматических топосов на развитие лексики литературного языка;

5) исследовать роль логических топосов в развитии синтаксиса литературного языка.

**Материалом** исследования послужили обвинительные и защитительные судебные речи по громким делам конца XIX – начала XX вв., а именно:

- 1) речь П.А. Александрова по делу Веры Засулич (Александров, 1957);
- 2) речь П.А. Александрова по делу Сарры Модебадзе (Александров, 1957);
- 3) речь Н.П. Карабчевского по делу Бейлиса (Карабчевский, 2010);
- 4) речь Н.П. Карабчевского по делу И.И. Мироновича (Карабчевский, 2010);
- 5) речь Н.П. Карабчевского по делу мултанских вотяков (Карабчевский, 2010);
- 6) речь А.Ф. Кони по делу о Станиславе и Эмиле Янсенах и Герминии Акар (Кони, 1967);
- 7) речь А.Ф. Кони по делу об убийстве Филиппа Штрама (Кони, 1967);
- 8) речь Ф.Н. Плевако по делу люторических крестьян (Плевако, 1912);
- 9) речь Ф.Н. Плевако по делу князя Грузинского (Плевако, 1993);
- 10) речь Ф.Н. Плевако по делу С.И. Мамонтова (Плевако, 1993);
- 11) речь Ф.Н. Плевако по делу П.П. Качки (Плевако, 1993);
- 12) речь В.Д. Спасовича по делу Кронеберга (Спасович, 1894);
- 13) речь В.Д. Спасовича по делу Островлевой и Худина (Спасович, 1913);
- 14) речь В.Д. Спасовича по делу Давида и Николая Чхотуа (Спасович, 1957);
- 15) речь В.Д. Спасовича по делу Алексея Кузнецова (Спасович, 2010);
- 16) речь В.Д. Спасовича по делу Петра Ткачева (Спасович, 2010);
- 17) речь В.Д. Спасовича по делу Елизаветы Томиловой (Спасович, 2010);
- 18) речь К.Ф. Хартулари по делу Левенштейн (Хартулари, 1957);
- 19) речь К.Ф. Хартулари по делу Маргариты Жюжан (Хартулари, 1957);

20) речь А.И. Урусова по делу об убийстве Марии Дричь (Урусов, 1901).

Судебные дела, в рамках которых были произнесены перечисленные речи, имели широкий общественный резонанс, освещались в печати; некоторые из них нашли отклик у деятелей литературы и легли в основу художественных произведений. Речи были отобраны произвольно, т.к. цель нашей работы не проследить индивидуальные особенности ораторского стиля, а выявить общие механизмы влияния топосов и связанное с ними взаимодействие художественного и судебного дискурсов.

В качестве **методов исследования** были использованы дискурсный, интертекстуальный, прагматический, структурно-логический, композиционный и компонентный анализ, а также критический дискурс-анализ.

**Теоретико-методологической базой исследования** послужили статьи, монографии и диссертации как отечественных, так и зарубежных лингвистов, литературоведов, риториков, историков и логиков, связанные с вопросами литературного языка, литературы, дискурса и интердискурсивности, историей русской адвокатуры конца XIX – начала XX вв., судебной риторикой и логикой.

Данное исследование основано на работах, посвящённых:

- 1) литературному языку и его специфике как системы, обладающей потенциалом для дальнейшего развития, в том числе посредством культивирования всем языковым сообществом, о чём пишут такие учёные, как В.В. Виноградов (1978; 1982), Б. Гавранек (1967), Н.Н. Гухман (1970), В. Матезиус (1967);
- 2) риторической топике, а также специфике и потенциалу разных видов риторики, чему посвящены работы Аристотеля (2015), Д. Борманна (1977), М. Леффа (2006), А.Е. Махова (2011), С.В. Начерной (2010), Л. Розенфилда (1990), С. Рубинелли (2014), Г.Г. Хазагерова (2008; 2017), Цицерона (1972; 1994);

- 3) теории дискурса и вопросам интердискурсивности, которые освещались такими исследователями, как М. Ариэль (2009), М. Бартесаги (2015), В. Бхатиа (2010), С.Г. Воркачев (2019), В.И. Карасик (2018), Н.И. Клушина (2011);
- 4) специфике судебного красноречия и судебного дискурса второй половины XIX – начала XX вв., рассмотренной в работах С.А. Андреевского (2000), И.В. Гессена (1914), Б.Б. Глинского (1897), А.Г. Тимофеева (1900).

Основным источником материала для анализа судебного красноречия послужили сборники речей русских адвокатов конца XIX – начала XX вв.

**Гипотеза исследования** основана на том, что судебное красноречие, будучи полемическим жанром риторики, который подразумевает реальный диалог и включает в себя элементы разных дискурсов, может в рамках типичных для судебной речи общих мест способствовать развитию литературного языка на уровне синтаксиса, лексики и семантики.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Судебное красноречие, возникшее в России после реформы 1864 г., сформировалось под влиянием реалистической литературы. Этому способствовала литературоцентричность культуры, а также тот факт, что ключевые судебные ораторы были непосредственно вовлечены в литературную и литературно-критическую деятельность. В результате произошло столкновение судебного и художественного дискурсов.
2. При анализе судебных речей рубежа XIX – начала XX вв. может быть применена типология общих мест, согласно которой все общие места делятся на семантические, прагматические и логические. Они вносят в речь новую тему, отражают коммуникативные намерения и логические операции.
3. Семантические топосы в речах второй половины XIX – начала XX вв. способствовали развитию прогрессивных идей и борьбе с

негативным восприятием правосудия, которое нашло отражение в том числе и в фольклоре. Общие места этой группы вносили вклад в формирование представлений об институте суда как источнике справедливых решений, которые выносятся на основе объективных, логически обоснованных доказательств и научных данных, а не стереотипов.

4. Прагматические топосы в судебных речах исследуемого периода подразумевали использование средств образности, стилизацию и включение в речь элементов, находившихся за пределами литературного языка, что позволяло решить коммуникативные задачи (показать характеры и психологические состояния, описать место и время преступления, изложить последовательность событий и т.д.) и вносило в речь ораторов элементы художественного дискурса.
5. Логические топосы заставляли искать эффективные способы развертывания логических операций на уровне синтаксиса, чтобы в понятной и ясной для слушателей форме актуализировать логические связи, классифицировать явления и выявлять связи между этими явлениями и разбираемыми событиями в целом. Несмотря на ограниченное число логических операций, их выражение на уровне синтаксиса характеризуется большим количеством комбинаций, что выявляется посредством соотнесения логических и синтаксических схем.

**Достоверность результатов** исследования обусловлена тем, что выводы, сделанные в данной работе, получены в результате анализа речей адвокатов конца XIX – начала XX вв. Обоснованность результатов научно-квалификационной работы достигается благодаря репрезентативности эмпирического материала, использованию актуальных и эффективных методов исследования, а также использованию авторитетных научных источников (в библиографию входит 312 работ).

**Научная новизна работы** заключается в том, что впервые на примере русского судебного красноречия конца XIX – начала XX вв. установлено, что судебная речь как риторический жанр с характерным для него набором общих мест (топосов) в определённых условиях способствует развитию семантики, лексики и синтаксиса литературного языка.

**Теоретическая значимость работы** состоит в том, что она вносит определённый вклад в изучение процессов и механизмов, формирующих литературный язык. Углубляются теоретические представления об общих местах (топосах), их роли в развитии языка. Развивается идея о ценности полемических жанров риторики для обогащения литературного языка.

**Практическая значимость работы** состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в курсах риторики, коммуникативистики, теории дискурса и русского языка. Результаты исследования могут применяться спичрайтерами, практикующими риториками и всеми, перед кем стоит задача создать убедительный текст.

**Основная часть работы** состоит из трёх глав, каждая из которых завершается выводом. В первой главе рассматривается понятие «литературный язык» и его соотношение с понятием «языковой стандарт», разбираются основные пути его развития и обогащения. Отдельные параграфы посвящены влиянию интердискурсивности и убеждающих речей на развитие литературного языка.

Вторая глава посвящена взаимоотношению судебного красноречия и художественной литературы, которое рассматривается на примере русского судебного красноречия конца XIX – начала XX вв. В этой части дается общая характеристика судебного красноречия пореформенного периода, анализируется его роль в становлении художественной литературы и художественного дискурса, который обладает диалогичностью и вбирает в себя элементы других дискурсов. Отдельный параграф посвящён критическому изображению судебного дискурса в русской литературе конца XIX – начала XX вв.

Третья, практическая, глава научно-квалификационной работы посвящена разбору конкретных судебных речей, выявлению содержащихся в них топосов (вопросы теории общих мест разбираются в первых двух параграфах главы) и анализу их влияния на семантику, синтаксис и лексику литературного языка.

**Апробация работы.** Основные положения диссертационного исследования апробированы на заседании круглого стола «Топика и ораторика» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Первостепенное значение цикла “Научное исследование – практическое применение”» на базе РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону, 2018 г.).

Результаты исследования изложены в 8 публикациях, в том числе 5 – в ведущих рецензируемых научных изданиях, включённых в перечень ВАК Российской Федерации. Общий объем публикаций составляет 4 п.л. (авторский вклад – 3,3 п.л.).

Список использованных источников и литературы состоит из 312 наименований. Общий объем работы составляет 174 страницы.

# ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

## 1.1. Трактовка понятия «литературный язык»

Понятие литературного языка – одно из ключевых в отечественном языкознании.

В современном «Лингвистическом энциклопедическом словаре» литературный язык определяется как «основная, наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся большей или меньшей обработанностью, полифункциональностью, стилистической дифференциацией и тенденцией к регламентации» (ЛЭС, 1998, с. 270). Он обладает наивысшим социальным статусом и престижем и противопоставляется диалектам, койне и просторечию (ЛЭС, 1998, с. 270).

В основу современных представлений о литературном языке и его определений легли преимущественно исследования Л.В. Щербы и В.В. Виноградова: именно их работы – как мы увидим далее – по сей день оказывают наибольшее влияние на отечественных лингвистов.

Относительно позднее начало изучения литературного языка как явления связано с тем, что до конца XIX в. язык не был самостоятельным объектом изучения и мыслился в контексте истории литературы, антропологии, истории государства и философии; лишь постепенно филология обрела независимость, а исследования истории языка разделились на историческую грамматику и историю литературного языка: если предметом первой дисциплины стало «внутреннее» развитие языка, то вторая имела дело с «внешней» стороной – социальной и культурной (Журавлев, 2005, с. III).

В отечественной лингвистике, одними из первых работ, посвящённых истории литературного языка, стали «История русского литературного языка» А.И. Соболевского (1980); «Очерк современного русского литературного языка» А.А. Шахматова (1913), а также некоторые другие его

работы (например: Шахматов, 1899; 1916). Сюда же можно отнести «Очерк истории современного литературного русского языка (XVII–XIX вв.)» Е.Ф. Будде (2005), который, хотя и представляет собой скорее исследование по исторической грамматике, включает в себе целый ряд важных вопросов о просвещении и образовании населения, демократизации и нормализации языка (Журавлев, 2005, с. VII). Однако исследователей рубежа XIX–XX вв. занимали преимущественно вопросы происхождения русского литературного языка, а не теоретическое осмысление самого феномена.

Значительный вклад в теоретическую разработку вопроса внёс Л.В. Щерба. Он определял литературный язык как «наддиалектный диалект», который обладает ведущей социальной ролью (Щерба, 1957, с. 117). Исследователь считал, что литературный язык может быть не только письменным, но и устным: в качестве подтверждающего эту точку зрения примера приводилось существование разных видов ораторской речи (Щерба, 1957, с. 115).

По мнению Л.В. Щербы, литературный язык обладает достаточно стабильной нормой: благодаря тому, что изменения в нем протекают чрезвычайно медленно, носители имеют возможность читать и понимать тексты предшествующих эпох (Щерба, 1957, с. 113, 117). Однако несмотря на то, что литературный язык стимулирует обращаться к уже готовым формам, которые черпаются в образцах, он также становится источником новых способов выражения мысли, включает в себе потенциал для дальнейшего обогащения (Щерба, 1957, с. 113). В качестве главного достоинства любого литературного языка Л.В. Щерба называл наличие такой системы средств выражения, которая позволяет выражать самые разнообразные оттенки (Щерба, 1957, с. 122). Т.е. литературный язык, с одной стороны, является вместилищем традиции и позволяет обращаться к более ранним текстам, а с другой – обладает мощным потенциалом дальнейшего развития.

Значительный вклад в теоретическое осмысление вопроса был сделан В.В. Виноградовым, который понимал литературный язык как «сложную

систему более или менее синонимичных средств словесного выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом» (Виноградов, 1978, с. 155). В качестве ключевых признаков литературного языка В.В. Виноградов называл нормативность и стремление к всенародности. Несмотря на структурные различия, разговорный и письменный литературные языки стремятся к внутреннему единству нормы (Виноградов, 1978, с. 292–295). Литературная норма проникает во все сферы общения и постепенно вытесняет диалекты, превращаясь тем самым в общенародный язык (Виноградов, 1978, с. 297).

В работах В.В. Виноградова также можно обнаружить указание на динамичную природу литературного языка. Так, например, исследователь отмечал, что система стилей изменчива и не все стили могут считаться равноценными (Виноградов, 1978, с. 156). Кроме того, само содержание понятия «литературный язык» имеет разный объем применительно к историческим периодам существования конкретного народа (Виноградов, 1978, с. 179).

Интересная точка зрения была высказана В.В. Виноградовым и в контексте влияния одного литературного языка на другой. Такое влияние, как считает исследователь, не может считаться негативным: оно не ослабляет специфику языка, а, напротив, активизирует его внутренние ресурсы, помогает более отчётливо проявиться нормам выражения — В.В. Виноградов называл это «законом “взаимопомощи”» (Виноградов, 1978, с. 294).

Идея Л.В. Щербы о способности литературного языка аккумулировать и обогащать собственные ресурсы и идея В.В. Виноградова о взаимном влиянии («взаимопомощи») литературных языков и подвижности их стилей заставляет вспомнить концепцию Ю.М. Лотмана, который в рамках работ о семиосфере освещал вопросы взаимного влияния разных культур и языков (последние в данном случае следует понимать в широком смысле). Ю.М. Лотман полагал, что семиосфера неоднородна; языки, заполняющие семиотическое пространство, по-разному соотносятся друг с другом, т. е. неоднородность «определяется гетерогенностью и гетерофункциональностью

языков» (Лотман, 2010, с. 252). Столкновение одного языка с другим в условиях динамичности и изменчивости элементов семиосферы – неотъемлемая часть его развития, которое весьма специфично: «старые» элементы не отмирают – они остаются и могут впоследствии возрождаться и работать на будущее. Как пишет Ю.М. Лотман, на развитие культуры работает вся совокупность текстов культуры (Лотман, 2010, с. 252–254).

Как мы уже упомянули ранее, концепции литературного языка, предложенные Л.В. Щербой и В.В. Виноградовым, по сей день остаются доминирующими. Последующие поколения филологов, как правило, или уточняли отдельные теоретические вопросы, или же предлагали новые определения литературного языка, выдвигая на первый план его конкретные черты (последние, однако, немногочисленны, и они не получили широкого распространения и поддержки).

Исследования В.В. Виногорова и Л.В. Щербы взяла за основу своих работ Е.Г. Ковалевская. В качестве главных характеристик литературного языка она указывает нормированность, кодифицированность, стилистическое многообразие и стилистическую дифференциацию, т.е. способность литературного языка обслуживать различные сферы общения носителей (Ковалевская, 2012, с. 17–30). Базой постоянного развития литературного языка, по мнению исследователя, является некодифицированная разговорная речь и просторечие (Ковалевская, 2012, с. 23).

Цитируя высказывание Л.В. Щербы о том, что для изучения нормы полезно обращаться к текстам писателей, обладающих максимальным языковым чутьем (Щерба, 2004, с. 37), Е.Г. Ковалевская приходит к выводу, что аспект нормы – это аспект употребления языковых единиц. Такое понимание даёт возможность изучать норму путём исследования текстов художественных произведений, учитывая, однако, что одной литературой ограничиваться нельзя, т.к. язык художественной литературы шире понятия «литературный язык» (Ковалевская, 2012, с. 28).

О невозможности отождествлять язык художественной литературы и литературный язык писал в своих работах М.В. Панов: он видел в качестве источника литературного языка повседневный народный язык, который прошёл обработку и стал способен предельно точно выражать оттенки мыслей и чувств (Панов, 2004, с. 90–92). По мнению лингвиста, такой точности немало способствует норма, которая предписывает использование только одного варианта в конкретной ситуации: литературный язык по своей природе стремится к устранению дублетности, он не любит неразграниченные по смыслу единицы (Панов, 2004, с. 91). М.В. Панов отдельно отмечал, что нормированность и кодифицированность не должны в данном случае иметь негативный оттенок и трактоваться как ограничители: литературный язык богат, он постоянно ищет способы выражения мыслей и приспособляется к современности; нормированность лишь способствует его точности, а кодифицированность знаменует собой сознательное культивирование литературного языка говорящими, их заботу о нем (Панов, 2004, с. 91–92).

О преодолении противоречий и борьбе вариантов как сущности развития языка писал Ф.П. Филин: по мнению исследователя, если бы в рамках языковой системы отсутствовали варианты, было бы невозможно говорить о норме, которая сама по себе подразумевает наличие правильного (или неправильного) выбора (Филин, 1981, с. 147). Противоречие между нормой и отклонениями приводит или к сдвигу самой нормы, или же к окончательному изжитию отклонений (Филин, 1981, с. 7).

Наравне с нормативностью, в качестве особенностей литературного языка исследователь называл его обработанность, упорядоченность, стабильность, обязательность, развитую стилистическую дифференциацию, универсальность, а также наличие устной и письменной традиции (Филин, 1981, с. 175–176).

О том, что письменность способствует устойчивости литературного языка, писал А.И. Ефимов. Сам же литературный язык исследователь определял как наивысшее достижение речевой культуры, как обогащённый и

обработанный мастерами слова общенародный язык (Ефимов, 1961, с. 5). Кроме того, это также система стилей, исторически развивающихся и находящихся в постоянном взаимодействии (Ефимов, 1961, с. 6).

Сложная система стилей литературного языка, упомянутая А.И. Ефимовым, отмечается многими исследователями. Так, например, О.А. Лаптева называет отчётливую функциональную дифференциацию признаком развитого литературного языка, который также обладает такими признаками, как традиционность, письменная фиксация, общеобязательность норм, кодификация, соотношение книжной и разговорной речи, стилевая дифференциация средств и вариативность; литературный язык также сочетает процесс эволюции с гибкой стабильностью (Лаптева, 2003, с. 11–12).

Другой исследователь, В.Д. Левин, считал, что развитие культуры требует богатства и выразительности от литературного языка, который создаётся путём сознательного отбора материала, а потому его главной особенностью является принятая в коллективе норма (Левин, 1964, с. 5–8).

Как видно из приведённых точек зрения, вопросы нормы и развития литературного языка – одни из наиболее спорных. Несмотря на то, что большинство исследователей считают норму неотъемлемой частью литературного языка, степень её значимости оценивается по-разному. Например, А.М. Камчатнов, опираясь на работы Н.С. Трубецкого, который полагал, что народный и литературный языки не совпадают и развиваются параллельно (если первый тяготеет к диалектическому дроблению, то второй – к единообразию (Трубецкой, 1990, с. 122–123)), отрицал нормативность как основной признак литературного языка, приводя аргумент, что норма возникает в тот момент, когда появляется общественная потребность в стабильности литературного языка (Камчатнов, 2015, с. 12). Норма абстрактна, это своего рода стандарт, который является лишь результатом научной работы, направленной на описание узуса, выведение правил и дальнейшую их кодификацию в грамматиках и словарях (Камчатнов, 2015, с. 12).

О невозможности ограничить историю литературных языков только периодом установления твёрдых речевых норм писал Р.А. Будагов: по его мнению, это неминуемо приведёт к тому, что за пределами литературного окажутся языки, на которых были созданы значительные произведения, но которые обладают менее устойчивыми нормами (Будагов, 1967, с. 15). Исследователь также активно полемизировал с Р.И. Аванесовым, который считал, что отбор и регламентация, а не внутреннее развитие являются спецификой развития литературного языка (Будагов, 1967, с. 9–10). Р.А. Будагов указывал на необходимость уточнения границ регламентации, ведь попытки лишить литературный язык полисемии противоречили бы самой тенденции литературного языка (здесь исследователь приводит слова французского лингвиста Бреалья, который называл лексическую полисемию литературного языка признаком цивилизации (Breal, 1897, с. 154–155)).

С позицией Р.А. Будагова соглашался А.И. Горшков: он указывал на опасность чрезмерного акцента на нормированности, который может привести к тому, что литературный язык будет сведён к строгой системе норм, хотя не литературный язык должен выводиться из нормы, а наоборот (Горшков, 2007, с. 12–13). Отсюда же возникает неправомерное стремление заменить термин «литературный язык» на «стандартный язык», что приводит к дегуманизации и формализации языкознания (Горшков, 2007, с. 25).

М.М. Гухман в контексте литературного языка писала, что его обработанность подразумевает отбор средств на основе качественных критериев и большую или меньшую степень регламентации (Гухман, 1970, с. 502).

Упоминание отбора языковых средств неизменно наводит на вопрос, кто именно их отбирает или кто должен их отбирать. Вероятно, здесь существует два пути: средства отбираются или «стихийно», или в результате работы специального института. При этом «стихийность» не означает анархию. Если вспомнить историю европейских литературных языков, то можно обнаружить,

что нормативные органы стали появляться достаточно поздно – начиная приблизительно с XVII в. – и вполне соответствовали строгому духу классицизма и сверхцентрализованных абсолютных монархий. Будь то Французская академия, в уставе которой было написано, что главная её задача – «дать языку определенные правила и сделать его чистым, красноречивым и способным трактовать все искусства и науки»<sup>1</sup> (*Statuts et règlements*), или Императорская российская академия, учреждённая Екатериной II, которая должна была «иметь предметом своим вычищение и обогащение русского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворение» (Сухомлинов, 1874, с. 360), оба этих института задумывались для установления норм, правил и кодификации литературного языка, который на тот момент уже существовал и обрёл определённую форму. Кроме того, упомянутые институты занимались вопросами нормативной эстетики и регламентацией системы литературных жанров, а в случае с Французской академией служили также инструментом политики (Carrère d'Encausse, 2010). Поскольку, например, в России установилась традиция именно институционального контроля и прескриптивного подхода к языку (Mustajoki, 2016, с. 288), такой путь кажется наиболее привычным, даже естественным, но, как мы уже сказали, это не единственный возможный путь.

Представители Пражского лингвистического кружка высказывали точку зрения, что значительный вклад в развитие литературного языка и его культивирование могут вносить не только лингвисты и деятели науки и искусства, но и все те, кто говорит и пишет на литературном языке (Гавранек, 1967, с. 377). Лингвисты могут вмешиваться в формирование нормы, однако их работа заключается в разработке вопросов использования языковых средств; критике конкретных выражений с функциональной точки зрения; кодификации, поддержании стилистического богатства языка (Гавранек, 1967, с. 376–377). Т.е. норма как таковая не является самоцелью. Лингвисты лишь

---

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод источников на иностранных языках наш.

ускоряют процесс «шлифовки» языка, помогают другим понять нормы и затем успешно их применять, способствуя тем самым их стабилизации (Гавранек, 1967, с. 376).

Другой член Пражского лингвистического кружка, В. Матезиус, особо отмечал, что от литературного языка нельзя требовать «прямолинейной регулярности», т.к. это может нарушить его стабильность (Матезиус, 1967, с. 385–386). Вместо того чтобы пытаться сделать из языка идеальный механизм, необходимо сделать заботу о языке неотъемлемой частью жизни народа (Матезиус, 1967, с. 388–392). Развитие литературного языка тем самым становится не задачей отдельных институтов или уполномоченной группы, а частью жизни культурного общества.

Как полифункциональное образование со сложной стилистической структурой (Едличка, 1967, с. 547) литературный язык обладает гибкой стабильностью, которая позволяет ему «приспосабливаться к новым задачам и более богато дифференцировать средства выражения» (Мукаржовский, 1967, с. 426). При этом, как пишет Б. Гавранек, языковые средства имеют три типа специального использования: 1) под «интеллектуализацией» (рационализацией) языка исследователь понимал степень развития языка, при которой он приспособлен как для предельной точности высказывания, так и для выражения абстрактных идей (Гавранек, 1967, с. 349); 2) «автоматизацией» Б. Гавранек называл «обычное для определенной задачи выражение» (Гавранек, 1967, с. 355), которому противоположна 3) «актуализация» – необычное использование языковых средств, лишённое автоматизма, а потому привлекающее внимание (максимальная актуализация происходит в поэтическом языке и публицистике) (Гавранек, 1967, с. 355).

Лингвисты Пражского кружка выступали против консерватизма как неотъемлемого признака литературного языка (Едличка, 1967, с. 550–551); в их работах отчётливо видно, что сама идея литературного языка предполагает развитие: его можно культивировать, улучшать и обогащать, причём усилиями всех носителей. Идея развития считывается в описанных выше

концепциях Л.В. Щербы и В.В. Виноградова, а также ряда отечественных исследователей, которые основывались на их работах.

В ходе прочтения данного параграфа может возникнуть вопрос, почему, излагая трактовки понятия «литературный язык», мы обращались к работам отечественных и восточноевропейских лингвистов и не уделили достаточно внимания западноевропейским работам. Проблема в данном случае заключается в существенном различии принятой терминологии: тому, что в лингвистической традиции славянских стран называют «литературным языком», в Западной Европе и США соответствует понятие «стандартный язык» (standard language). Некоторые исследователи (Unbegaun, 1973) считали, что это терминологическое расхождение отражает глубинное различие путей исторического развития языков. Другие же объясняли его исключительно сложившейся традицией и говорили о синонимичности терминов (например: Langston, 2014). Однако, как мы увидим в следующем параграфе, использование термина «стандартный язык» вместо «литературный» накладывает определённые ограничения, которые не позволяют говорить о полной синонимичности этих понятий.

## **1.2. «Языковой стандарт» VS «литературный язык»: интегральные и дифференциальные признаки**

В современных отечественных словарях термин «языковой стандарт» («стандартный язык»)<sup>2</sup> определяется или как «совокупность требований к различным уровням владения языком, зафиксированных в специальном описании языка в учебных целях; нормы владения языком, принятые в данном языковом обществе» (Азимов, 2009, с. 365), или как полный синоним «литературного языка» (Жеребило, 2010, с. 366; Щерба, 2004, с. 198]. В

---

<sup>2</sup> В рамках данной диссертации понятия «стандартный язык» и «языковой стандарт» используются в качестве синонимичных.

словарях более ранних этот термин также или приводится как синоним литературного языка (например: Ахманова, 1969, с. 452), или отсутствует вовсе (например: Русский язык, 1997<sup>3</sup>; Розенталь, 1985; ЛЭС, 1998).

В отечественной лингвистике одним из первых исследователей, кто стал активно употреблять термин «языковой стандарт», был Е.Д. Поливанов, который использовал понятие как синоним «литературного языка» и «общерусского языка» (Поливанов, 1968, с. 212). Однако Е.Д. Поливанов далеко не всегда указывал, как именно в том или ином случае им понимается «языковой стандарт». Так, например, в работах о японских диалектах исследователь понимал стандарт как средство междиалектного общения и отмечал, что стандарт может быть не единственным и его роль могут выполнять сразу два диалекта или говора (Поливанов, 1968, с. 154–155). В другой своей работе Е.Д. Поливанов предлагал чуть более развернутое определение стандартного языка как диалектологической единицы, способной служить предметом школьного обучения и грамматического описания (Поливанов, 1931, с. 58). Стандартным языком становится диалект господствующей социальной группы, которой «выпала исключительная роль канонизации норм» (Поливанов, 1931, с. 59). При этом исследователь отмечал, что литературный язык целесообразнее отождествлять с письменным языком литературы, который может или совпадать, или не совпадать со стандартом; в качестве примера для второго случая Е.Д. Поливанов приводил средневековую Европу, где сосуществовала латынь и национальные языки (Поливанов, 1931, с. 59).

Позднее термин «языковой стандарт» в работах отечественных лингвистов встречался редко и, как правило, уступал место «литературному языку».

---

<sup>3</sup> Несмотря на то, что отдельной словарной статьи, посвящённой стандартному языку, в энциклопедии русского языка под редакцией Ю.Н. Караулова нет, в других словарных статьях можно обнаружить фрагменты, косвенно указывающие на то, что «стандартный язык» трактуется в данном словаре как синоним «литературного языка». Это видно, в частности, по статье, посвящённой русскому языку в контексте международного общения. См.: (Русский язык, 1997, с. 446).

Совершенно противоположным образом обстояло дело в западноевропейской и североамериканской лингвистических традициях, где используется понятие «стандартный язык», а привычного восточноевропейским исследователям «литературного языка» не существует вовсе.

В составленном британским языковедом Дэвидом Кристалом лингвистическом словаре “A Dictionary of Linguistics and Phonetics”, «языковой стандарт» (standard) определяется как престижный вариант языка, используемый языковым сообществом, который преодолевает местные различия, становится единым средством коммуникации и тем самым превращается в институциональную норму, которая используется в средствах массовой информации, для обучения иностранцев и т.д. (Crystal, 2008, с. 450).

Особый акцент на обучении делается в словаре “Routledge Dictionary of Language and Linguistics”: его составительница Хадумод Буссман отмечает, что стандартный язык, будучи средством коммуникации в обществе, подвергается тщательной нормализации и транслируется прежде всего школьной системой; цель обучения языку как раз и есть овладение стандартом (Bussmann, 2006, с. 1117).

Во многом сходным является определение, предложенное составителями словаря “Dictionnaire de linguistique” во главе с Жаном Дюбуа, в котором языковой стандарт представляется как лучшее средство коммуникации для людей, склонных использовать другие формы или диалекты. Стандарт, распространяемый школами и средствами массовой информации, подчиняется институтам, которые ответственны за его нормализацию (Dubois, 2002, с. 441).

Любопытная черта языкового стандарта отмечалась итальянским лингвистом Гаэтано Берруто: определяя в словарной статье стандарт как престижный вариант языка, который подвергается нормативной кодификации, служит моделью правильного использования языка и предметом школьного образования, он отмечает, что «стандарт» часто используется для обозначения

нейтрального языка, лишённого социолингвистических маркеров, т.е. той части языка, элементы которой не дифференцированы и общеупотребительны во всем языковом сообществе (Berruto, 2010).

Если обобщить приведённые цитаты, то можно обнаружить, что основной акцент в определении стандартного языка делается на его наддиалектной природе (он общеупотребителен и служит для коммуникации носителей разных диалектов и вариантов языка); строгой нормированности (норма определяется институтами и транслируется системой школьного образования) и своего рода нейтральности, которая делает стандарт универсальным средством общения членов языкового сообщества.

Подобная расстановка акцентов сильно отличается от той, которую мы обнаружили при изучении трактовок литературного языка. Различия эти настолько ощутимы, что невольно заставляют задуматься о невозможности трактовать «литературный язык» и «языковой стандарт» как синонимичные, взаимозаменяемые понятия.

При изучении отечественных филологических работ, посвящённых норме и общим вопросам языка, можно обнаружить, что исследователи нередко склоняются к использованию термина «стандартный язык» или «языковой стандарт» вместо привычного «литературного языка». Одни лингвисты полагают, что эта тенденция может быть обусловлена отчасти модой, которая идет от западной лингвистической традиции и приводит к тому, что «стандарт» становится лишь новым названием того, что ранее обозначалось термином «литературный язык» (Каровић, 2010, с. 56); другие связывают её с тем, что использование термина «стандарт» позволяет избежать путаницы между «языком литературы» и собственно «литературным языком» (Кудинова, 2010, с. 137). Последний аргумент кажется несколько необычным, поскольку в филологических работах начиная с первой половины XX в. всегда отдельно подчёркивалась необходимость различения этих двух обманчиво схожих понятий.

Примечательно, что в работах конца XX – начала XXI вв. исследователи иногда, не отказываясь от термина «литературный язык», наполняют его содержанием, характерным для «языкового стандарта».

Так, например, В.В. Колесов считал, что за понятием «литературный язык» «не кроется никакого реального содержания в смысле предметности» (Колесов, 1986). Литературный язык трактовался им как усреднённый узус, который рождается из столкновения стилистических и функциональных вариантов, как функция национального языка, определяемая нормой – отбором стилистически немаркированных единиц (Колесов, 1989, с. 8–9).

А.Д. Швейцер, характеризуя литературный язык как систему с набором инвариантных признаков, присущих языку на всей территории распространения, отмечал, что, называя литературный язык «престижным диалектом» и «стандартным языком», мы в первом случае отмечаем его значимость, а во втором – его нормированный характер. По мнению исследователя, именно социальный престиж нормы является его определяющим элементом (Швейцер, 1971, с. 16–17).

Сходную мысль высказывал Д. Ворт: он полагал, что литературный язык имеет нейтральное ядро в виде системы норм, которая служит отправной точкой для любых стилистических отклонений (Ворт, 2006, с. 142). Отклонение от этого ядра позволяет носителям языка оценивать оригинальность стилей писателей. Под историей литературного языка Ворт понимал историю нормы, а сам литературный язык называл «стандартным», используя немецкое слово “Hochsprache” (Ворт, 2006).

Аналогичным образом историю литературного языка трактовал Б.А. Успенский, когда писал, что историка литературного языка интересуют именно стандартные явления (Успенский, 2002, с. 18). Сам же литературный язык связывался исследователем с искусственной, вторичной нормой, которая усваивается в процессе формального, максимально кодифицированного обучения и реализуется в авторитетной для членов языкового сообщества

литературе (Успенский, 2002, с. 15). История развития литературного языка осуществляется в той сфере, где литературный язык противостоит живому. Это противопоставление Б.А. Успенский описывал как противостояние «системы» с её потенциалом к языковым изменениям, динамичностью, живым языком и речью и «нормы» с её стабильностью, фиксацией языка в языковом сознании, статичностью и консервативностью. Исследователь метафорически сравнивал живой язык («систему») с природой, а литературный язык («норму») с культурой (Успенский, 2002).

Особую значимость нормы подчеркивал Л.П. Крысин, который ставил знак равенства между литературным и стандартным языком: по мнению исследователя, такой подход позволяет избежать путаницы между литературным языком и языком художественной литературы (Крысин, 2010, с. 638). При этом норма, как полагал Л.П. Крысин, имеет предписывающий характер, она консервативна и объединяет в себе традицию и целенаправленную кодификацию (Крысин, 2007). В различные моменты язык переживает или период демократизации, когда элементы узуса более активно проникают в литературный язык, или период стабилизации, когда усиливается влияние нормы и изменения в литературном языке замедляются (Крысин, 2007).

Приведенные трактовки литературного языка, благодаря акценту на усреднённости, нейтральности и принципиальной роли нормы, максимально сближаются с понятием языкового стандарта. При этом в приведенных нами определениях и интерпретациях уделяется чрезвычайно мало внимания стилистическому богатству языка, которое позволяет максимально полно выразить идеи и эмоции, его гибкости, которая позволяет приспособливаться к действительности и продолжать выполнять свою функцию, и необходимости культивирования, о которой писали, в частности, представители Пражского лингвистического кружка, к идеям которых нам бы хотелось снова вернуться.

В предыдущем параграфе приводилась концепция Б. Гавранека о типах специального использования языковых средств литературного языка:

интеллектуализации, автоматизации и актуализации [52]. Определения языкового стандарта наводят на мысль, что стандарт имеет дело только с одним из этих типов, автоматизацией, поскольку он состоит из нейтральных, общеупотребительных единиц.

Таким образом, понятие «литературный язык» представляется более полным и исчерпывающим, т.к. в нем отражается потенциал развития языка и возможность творческого, деавтоматизированного подхода к нему.

Однако мы не хотим сказать, что термин «языковой стандарт» совершенно бесполезен и от него следует отказаться. Он будет чрезвычайно уместен в сфере обучения русскому языку как иностранному (Бондарева, 2019). Мы также возьмем на себя смелость предположить, что само понятие «стандартный язык» становится особенно актуальным в ситуации, когда существует несколько вариантов одного языка. И если литературный язык – средство наддиалектного общения, то языковой стандарт – средство общения для носителей разных языковых вариантов. Ведь когда мы говорим о стандартном английском языке, то подразумеваем английский язык, который служит коммуникативным мостом для носителей британского, южноафриканского, новозеландского и индийского английского – вариантов, существенно отличных друг от друга. Если аналогичная ситуация сложится в будущем и с русским языком, то термин «стандартный язык» сможет весьма гармонично вписаться в филологическую традицию, не приводя при этом к отказу от «литературного языка».

### **1.3. Развитие литературного языка**

После того как в конце XIX в. язык стал отдельным объектом изучения, а филология обрела самостоятельность, история языка разделилась на историю литературного языка и историческую грамматику (Журавлев, 2005, с. III). Однако границы истории литературного языка как дисциплины

долгое время оставались размытыми: на рубеже XIX–XX вв. она была почти неотличима от исторической грамматики, что особенно заметно при обращении к соответствующим курсам и работам Е.Ф. Будде (1907)<sup>4</sup>, Н.Н. Дурново (2000), А.А. Шахматова (1915). Главной проблемой, которую стремились разрешить исследователи этого периода, было происхождение русского литературного языка и языковая ситуация в Древней Руси (иллюстрацией здесь может послужить известное противоборство концепций А.А. Шахматова и С.П. Обнорского (Обнорский, 2015)).

Начиная с 1920–1930-х гг. в историю русского языка был привнесён социалингвистический аспект, который отразился, в частности, в работах А.М. Селищева и В.М. Жирмунского (Журавлев, 2005, с. III).

А.М. Селищев, опираясь на представления Э. Дюркгейма о социальных явлениях как «формах, в которые мы вынуждены отливать свои действия» и которые при этом обладают «внешней принудительной властью над индивидуумом» (Дюркгейм, 1889)<sup>5</sup>, высказывал мысль, что сходным с социальными явлениями образом можно охарактеризовать и языковую норму: с одной стороны, она подвергается действию индивидуальных черт говорящего, а с другой – является обязательной для всех членов языкового коллектива (Селищев, 1928, с. 8). Отклонения от коллективной нормы со временем или становятся её частью, или отвергаются как нечто чуждое и противное общей норме языка. В этой связи А.М. Селищев приводит объемную цитату из методологической работы 1914 г. казанского лингвиста А.Н. Боголюбова, который считал, что общество отвергает новшество или потому, что оно противоречит привычному ощущению «правильности», или не согласуется с традицией, подкреплённой авторитетами: по словам А.Н. Боголюбова, образованный человек (в отличие от необразованного,

---

<sup>4</sup> Следует отметить, что в другой своей работе, «Очерке истории современного литературного языка (XVII–XIX века)» 1908 г., Е.Ф. Будде затронул важную тему влияния экстралингвистических явлений (в данном случае просвещения) на развитие литературного языка (Будде, 2005).

<sup>5</sup> Э. Дюркгейм цитируется в работе А.М. Селищева по: Дюркгейм Э. Метод социологии. Киев, Харьков: Южно-Русское книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1889. – 153 с.

который целиком полагается на чутьё) оглядывается на авторитет других (Селищев, 1928, с. 7). Идея о роли авторитетов в развитии литературного языка, как будет видно далее, во второй главе нашей диссертации, чрезвычайно важна для понимания характера и источника изменений, которые происходят под давлением внешних, общественных трансформаций.

В работе «Язык революционной эпохи» А.М. Селищев писал о революции как мощном толчке для изменения литературного языка. Масштаб и скорость этих изменений объясняются радикальным характером перемен в обществе, а также тем, что возможность высказаться и участвовать в общественно-политической жизни получили слои населения, которые раньше этой возможности были лишены: новые реалии, в совокупности со всевозможными собраниями, заседаниями комитетов, бюро и ячеек, приводили к быстрой адаптации новых элементов и распространению новых языковых элементов (Селищев, 1928, с. 24). Несмотря на то, что работа А.М. Селищева носит преимущественно описательный характер, она ясно отражает мысль о связи языка с социальными условиями.

О социальной обусловленности развития языка писал В.М. Жирмунский – один из основоположников отечественной социолингвистики. В работе, посвящённой германским языкам, он высказал мысль, что одним из главных факторов развития литературного языка выступают письменность, которая способствует формированию и установлению произносительных и орфографических норм (особую роль здесь играет книгопечатание и, преимущественно на ранних этапах развития литературного языка, составление «канцеляриями» официальных документов), и основанная на письменности грамматическая нормализация (Жирмунский, 1926, с. 7–8, 11). Она воплощается в жизнь усилиями «грамматиков-нормализаторов», которые сознательно или бессознательно становятся «защитниками определённых классовых интересов в культурно-политической борьбе своего времени»: в качестве иллюстрации

В.М. Жирмунский приводил деятельность Французской академии и позицию её главного теоретика Клода Фавра де Вожла, призывавшего придерживаться правильной языковой нормы (*bon usage*), которая определяется не большинством, а избранными (*l'élite des voix*), т.е. лучшей частью королевского двора (Жирмунский, 1926, с. 12). И письменность, и грамматическая нормализация, по мнению В.М. Жирмунского, отражают интересы господствующего, элитарного класса. Исследователь также отмечал, что национальный язык развивается, осваивая новые сферы общественной и государственной жизни (Жирмунский, 1926, с. 69–70). Это замечание для нас очень ценно: как мы увидим далее, во второй половине XIX в. в России появились новые общественные институты, которые богатому литературному языку предстояло освоить (забегая вперед, скажем, что с этой задачей он блестяще справился).

Особенно сильно социальные аспекты развития языка были акцентированы Л.П. Якубинским, которого чуть позже в предисловии к его «Истории древнерусского языка» академик В.В. Виноградов даже упреknёт в «вульгарном социологизме и вульгарном материализме» (Виноградов, 1953, с. 17). В рамках данной диссертации мы не будем подробно останавливаться на работах Л.П. Якубинского и лишь отметим, что в его очерке о первоначальном развитии русского литературного языка (Якубинский, 1986) есть важная для нашего исследования деталь: описывая языковую ситуацию второй половины XV в., лингвист отмечал, что в этот период среди жителей посадов царило политическое оживление, которое привело к активизации интеллектуальной деятельности и, как следствие, тяге к просвещению и книгам, что несколько пошатнуло позиции церковнославянского языка и стало ещё одним шагом в сторону демократизации литературного языка. Несмотря на то, что этот пример хронологически очень далёк от интересующей нас эпохи, он наводит на мысль о сходстве с ситуацией в России во второй половине XIX в., когда либеральные реформы Александра II привели к заметному общественно-политическому оживлению, активизации

литературной, публицистической и ораторской деятельности, что привело к большей вовлечённости представителей разных сословий в работу новообразованных общественных институтов.

Иную точку зрения выражал Л.В. Щерба. Согласно его концепции, развитие литературного языка идёт одновременно несколькими путями: 1) путём заимствований, причём не только из других языков, но и из географических и социальных диалектов («Я думаю вообще, что литературный язык меньше сам создает, чем берёт созданное жизнью, а языковая жизнь бьётся и кипит главным образом в разговорном языке отдельных человеческих группировок» (Щерба, 1957, с. 126)); 2) путём изменения содержания понятий и их оценки; это приводит к изменениям всей системы литературного языка; 3) путём привнесения носителями элементов разговорного языка в язык литературный (однако этот процесс нередко рискует стать бессистемным и привести не к развитию, а к деградации последнего) (Щерба, 1957).

Новую перспективу в изучении истории развития литературного языка открыл В.В. Виноградов. В его работе «Основные этапы истории русского языка», как писал в предисловии Н.И. Толстой, прослеживается связь исторической грамматики с историей литературного языка, которая, в свою очередь, связана с культурно-исторической судьбой народа (Толстой, 1978, с. 7).

Определяя литературный язык как «результат коллективной творческой деятельности» и «одно из самых действенных орудий просвещения» (Виноградов, 1978, с. 288–289), В.В. Виноградов в качестве организующей и формирующей литературный язык силы – особенно в течение последних двухсот лет – называл влияние «отдельных индивидуальностей» (в контексте русского языка исследователь приводил в качестве примера деятельность А.С. Пушкина); при этом, как далее писал В.В. Виноградов, решающую роль играет общество в целом (Виноградов, 1978, с. 296).

Чрезвычайно значимой для разработки истории литературного языка стала другая работа исследователя – «Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.», где была высказана мысль, что иерархия стилей, степень влияния отдельных из них в ту или иную эпоху способны вызывать сдвиги во всей системе литературного языка (Виноградов, 1982). Изменение стилей на периферии литературного языка, их грамматическая, лексическая и фонетическая трансформации приводят к изменениям в его центральной части – «общей структуре литературно-книжной и разговорной речи образованного общества» (Виноградов, 1982, с. 62).

В работах В.В. Виноградова, посвящённых развитию литературного языка, также прослеживается идея преемственности и традиции: старое в языке не уничтожается, а служит источником для обогащения, ресурсом, позволяющим адаптироваться к новым потребностям. Понятный приказной язык петровской эпохи, из которого возникли новые научно-технические и публицистические стили, не помешал наследию славяно-русского языка с его семантикой и конструктивными средствами служить источником обогащения русского языка на протяжении всего XVIII в. (Виноградов, 1978, с. 43–44). Работы В.В. Виноградова также наводят на мысль, что развитие языка – это ещё и столкновение: сталкиваться могут стили одного языка, как это происходило в 1830–1850-х гг., когда формировались научный и публицистический стили русского литературного языка (Виноградов, 1982, с. 371), или даже две разные языковые системы, как это произошло в творчестве А.С. Пушкина, который пытался объединить отвлечённость французской языковой системы с многообразием и живостью русского разговорно-бытового языка (Виноградов, 1935, с. 240).

Синтез, который строится на отборе самых продуктивных элементов, позволяет не только решить текущие проблемы языковой выразительности: в результате возникает новый источник потенциальных изменений, ресурс и основа обогащения языка в будущем. Этот синтез – чрезвычайно сложная и ответственная задача, которая требует безупречного языкового чутья, знания

традиции, умения улавливать малейшие движения и «сигналы» языка; она также требует творческого, живого ума. Этими качествами наиболее щедро бывают наделены вовлечённые в литературную и публицистическую деятельность люди, для которых максимально важна способность литературного языка отражать многообразие человеческих чувств и опыта.

Вероятно, именно поэтому многие лингвисты и исследователи литературного языка отмечают влияние отдельных личностей, в первую очередь писателей и публицистов, на развитие литературного языка. Литературное творчество служит своего рода лабораторией для экспериментов по поиску новых форм, средств выражения, комбинации стилей. Эти эксперименты могут или увенчаться успехом и тем самым обогатить литературный язык, или же так и остаться любопытными экспериментами, которые, однако, не получают широкого распространения и не приживаются в языке. Как отмечал чешский лингвист Я. Мукаржовский, хотя поэзия не ставит перед собой цель создать норму языку, она является одним из факторов, содействующих преобразованию литературного языка (Мукаржовский, 1967, с. 422–424).

Лингвисты второй половины XX вв. продолжали следовать пути, намеченному Л.В. Щербой и В.В. Виноградовым, чьи работы положили начало функциональной стилистике; продолжали активно проводиться исследования в области социолингвистики.

К филологам, кто особо подчеркивал необходимость социолингвистического подхода, можно отнести А.А. Алексеева. Он отмечал, что курс истории литературного языка зачастую напоминает или историческую стилистику, или историю филологии в донаучную эпоху, в то время как история литературного языка должна быть посвящена описанию социолингвистической ситуации в тот или иной момент времени (Алексеев, 2013, с. 5). Одним из благоприятных для развития литературного языка явлений он называл межъязыковые контакты и вторжение в язык чуждых

элементов, которые вызывают своего рода «защитную реакцию системы» и способствуют её самораскрытию (Алексеев, 2013, с. 67).

Движение и взаимодействие стилей, а также индивидуальное влияние как факторы развития литературного языка описаны в работах Г.О. Винокура, который разграничивал изучение исторического развития стилей языка и изучение стиля художественных произведений (Бархударов, 1959, с. 4–5; Винокур, 1959); А.И. Ефимова (1961), В.В. Веселитского (1974), Е.Г. Ковалевской (2012), Б.А. Ларина (он, в частности, упрекал историческую грамматику в изолированном изучении явлений и в качестве задачи истории литературного языка называл изучение «особенностей языка в различные эпохи, в различных жанрах, “стилях” языка» (Ларин, 1975, с. 5)); Н.А. Мещерского (1981). Исследованиями литературного языка в русле, близком исторической грамматике, занимался В.Б. Крысько (2007). Связь истории литературного языка с культурными процессами и развитием общества подчёркивал Б.А. Успенский; он также отводил огромную роль в развитии литературного языка лингвистическим установкам носителей языка, их представлениям о том, каким должен быть язык (Успенский, 2002).

Значительная часть более поздних курсов истории литературного языка представляет собой пособия, в которых предпринимаются попытки систематизировано изложить накопленные филологами XX в. сведения (например: Глухих, 2007; Леденева, 2012) и описать изменения структуры литературного языка, его типы и формы взаимодействия этих типов, а также осветить историю тех общественных функций, которые выполнял литературный язык (Судавичене, 1990, с. 5).

Подводя итог изложению различных концепций, можно сказать, что в качестве главных факторов развития литературного языка исследователи называют: 1) внешние изменения в жизни общества (сюда относится возникновение новых общественных и политических институтов, новых форм взаимодействия носителей языка, появление реалий и явлений жизни, которые заставляют литературный язык адаптироваться к новым условиям);

2) индивидуальное влияние (наиболее полно литературный язык раскрывается в художественных и публицистических работах, авторы которых имеют возможность экспериментировать в процессе поисков новых средств выражения; если тексты авторов становятся авторитетными, то они в дальнейшем служат ориентирами для носителей языка); 3) деятельность всего языкового коллектива; 4) столкновение языков друг с другом или стилей внутри одного литературного языка.

Упоминание стилей в классических работах по филологии и современных пособиях по истории литературного языка неизменно заставляет задаваться вопросом о соотношении традиционного понятия «стиль» с более новым, но уже ставшим привычным понятием «дискурс». Поскольку в нашей диссертации мы говорим о взаимодействии дискурсов, нам видится необходимым посвятить небольшой параграф этому аспекту и обосновать наш выбор именно понятия «дискурс».

#### **1.4. Литературный язык и дискурс.**

##### **Дискурс и функциональный стиль**

Термин «функциональный стиль» традиционно трактуется как «разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены особенностями общения в данной сфере» (ЛЭС, 1998, с. 567).

Основоположником функциональной стилистики считается швейцарский лингвист Шарль Балли, который в своей «Французской стилистике» (Bally, 1921) полемизировал с господствовавшей в то время концепцией Фосслера-Шпицера и выступал против отождествления стилистики языка и стилистики отдельных авторов (Будагов, 2001, с. 6–7). Эти

идеи впоследствии разрабатывались на протяжении всего XX в. и продолжают развиваться по сей день.

В отечественной лингвистике устоялось представление о функциональных стилях как разновидностях литературного языка, которые предназначены для функционирования в определённых сферах человеческой деятельности; этих стилей, как правило, выделяют пять: литературно-художественный, официально-деловой, научный, стиль средств массовой коммуникации и разговорно-бытовой стиль (каждый из них, в свою очередь, может быть разделен на подстили) (например: Солганик, 2001, с. 6). При этом стилистика как дисциплина занимается не статичными системами: определяя объект стилистики, Т.Г. Винокур отмечала, что им является «динамическая картина употребления <...> элементов» и что к стилистике относятся именно закономерности употребления языка обществом (Винокур, 1980, с. 17).

Каждый функциональный стиль обладает специфическими чертами, стандартами, набором характерных языковых единиц и клише (Формановская, 2002, с. 182), т.е. является целесообразной с точки зрения коммуникации системой средств выражения, которая сложилась исторически (Виноградов, 1981). Именно сосредоточенность на изучении закономерностей в разных сферах и ситуациях общения, как писала М.Н. Кожина, сближает функциональную стилистику с дискурсивным анализом (Кожина, 2008, с. 19).

Подобное сближение считается также в трактовке, предложенной Джеффри Личем: исследователь полагал, что функциональная стилистика – в отличие от формальной, которая занята лишь взаимодействием элементов лингвистического текста между собой, – изучает взаимодействие языка и того, что находится за его пределами (Leech, 2008, с. 104). Вне языка оказываются социальный, культурный и политические факторы, а также контекст и ситуация, в которой реализуется тот или иной стиль (Canning, 2014, с. 46).

Если определение функционального стиля не вызывает сегодня значительных проблем, то с определением дискурса ситуация обстоит совершенно противоположным образом. Несмотря на то, что термины

«дискурс» и «дискурсивный анализ» были введены в научный обиход более восьмидесяти лет назад, их трактовки остаются многочисленными и зачастую выходят далеко за пределы лингвистики. Понятие дискурса давно стало достоянием не только языковедческих дисциплин, но и философии, антропологии, социологии и политологии (например: García Agustín, 2015; Foucault, 2008; Dijk, 1997; Natural Histories of Discourse, 1996). Однако, даже оставаясь исключительно в языковедческом поле, можно обнаружить отсутствие единства в его понимании.

Принято считать, что первым термин «дискурсивный анализ» (и «дискурс») использовал в одноименной статье американский лингвист Зеллиг Харрис. Он трактовал дискурс как последовательность высказываний, объем которых может существенно варьироваться (Harris, 1952, с. 3).

В современном словаре “The Concise Dictionary of Oxford Linguistics” Питер Мэттьюс приводит схожую трактовку дискурса как связной последовательности предложений в устной или письменной форме; также он указывает, что это понятие часто выступает синонимом слова «текст» (Matthews, 2007). На частое использование этих двух понятий как синонимичных указывал австралийский лингвист Гюнтер Кресс; по его мнению, тот факт, что «дискурс», с одной стороны, потенциально охватывает обширную область лингвистики и социолингвистики, а с другой – до сих пор остается чрезвычайно размытым понятием, мешает эффективному использованию дискурсивного анализа (Kress, 2012, с. 35–36).

В работах современных исследователей также часто встречаются определения, которые подчёркивают значимость в контексте дискурса социального, политического и культурного аспекта. Так, например, дискурс может трактоваться как: семиотический элемент социальных практик, включающий в себя, помимо языка, невербальные аспекты коммуникации и визуальную составляющую (Chouliaraki, с. 38); создание смыслов как элемент социального процесса; язык, ассоциируемый с определенной социальной сферой или практикой; семиозис; способ толкования аспектов

действительности, связанный с определенной социальной перспективой (García Agustín, 2015).

Именно на изучении социального аспекта основывается так называемый критический дискурс-анализ (CDA). Несмотря на то, что CDA не был оформлен в единую теорию или методологию, исследователи признают, что ядром этого метода (и, вероятно, одним из источников плюрализма его интерпретаций) является именно внимание не к языку как таковому, а к лингвистической природе социальных и культурных процессов и структур (Blackledge, 2012, с. 616; Titscher, 2000).

В современной отечественной лингвистике, как справедливо отмечает в одной из своих статей Н.И. Клушина, дискурс не имеет строгой дефиниции, а его типы выделяются произвольно, на разных основаниях (Клушина, 2011). На эту же проблему указывали С.Г. Воркачев и Е.А. Воркачева: многозначность понятия и неопределённость его содержания делают невозможным использование «дискурса» вне контекста какой-либо исследовательской парадигмы, что, в свою очередь, не позволяет создать единую типологию дискурсов (Воркачев, 2019, с. 19).

Среди наиболее часто встречающихся можно назвать определения, трактующие дискурс как: 1) сложное коммуникативное явление, которое включает в себя не только текст, но и экстралингвистические факторы, необходимые для его понимания (Караулов, 1989, с. 8); 2) текст, состоящий из предложений и их объединений в крупные единства, которые находятся в смысловой связи и могут восприниматься как цельное образование (Борботько, 1981, с. 8); 3) «коммуникативную ситуацию, включающую сознание коммуникантов и создающийся в процессе общения текст» (Кибрик, 1992, с. 287–301); 4) единство текста и коммуникативной ситуации (Карасик, 2018). Как «язык в языке», представленный «в виде особой социальной данности» и существующий в таких текстах, «за которыми встаёт особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и

синтаксиса, особая семантика», понимал дискурс академик Ю.С. Степанов (Степанов, 1995, с. 44)<sup>6</sup>.

Однако в рамках нашей диссертации мы будем опираться на определение дискурса, которое было предложено Н.Д. Арутюновой: «Дискурс (от франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Д. – это речь, “погруженная в жизнь”» (Арутюнова, 1998, с. 136–137).

Определение Н.Д. Арутюновой представляется нам наиболее полным, и, что немаловажно, в нём отдельно подчеркнут социальный аспект дискурса, необходимость учитывать положение говорящего и слушающего, прагматику речи – то, что в риторике называют «риторической ситуацией» (Bitzer, 1968)).

Дискурсы, как отмечают лингвисты, способны взаимодействовать между собой. Интересный пример приводит в одной из своих статей Норман Фэйрклаф. Он предположил, что дискурс, который изначально принадлежал одной социальной сфере и институту, может быть реконтекстуализирован в другом: например, неолиберальный экономический дискурс, зародившийся в среде бизнеса и академической экономики, впоследствии стал частью политической сферы (Fairclough, 2012, с. 12). Реконтекстуализация, по мнению Фэйрклафа, может идти двумя путями: институт может или целиком присвоить дискурс себе, или же инкорпорировать в свой уже существующий дискурс (Fairclough, 2012, с. 12). Можно предположить, что подобное столкновение дискурсов между собой и

---

<sup>6</sup> Похожую точку зрения высказывала израильский лингвист Мира Ариэль. В статье, посвящённой грамматике и дискурсу, она отмечала, что дискурс не просто отражает грамматику того или иного языка, – в рамках дискурса грамматика используется селективно, т.е. отбираются именно те грамматические структуры, которые подходят для достижения дискурсивных целей говорящего (Ariel, 2009, с. 6).

их переход в новое поле не только ведут к изменениям дискурсов, но и приводят в движение систему всего языка.

Приведенные нами трактовки дискурса, какими многочисленными, а иногда даже противоречивыми они бы ни были, наводят на мысль о нетождественности понятий «дискурс» и «функциональный стиль». Однако их разграничение остается для современной лингвистики актуальнейшей проблемой, которая очень далека от разрешения. Исследователи расходятся во мнениях даже относительно гиперо-гипонимических отношений дискурса и функционального стиля<sup>7</sup>.

Анализ разграничения этих понятий – отдельная сложная тема, рассмотрение которой вывело бы нас далеко за пределы стоящих перед нами исследовательских задач. Мы лишь отметим, что понятие «дискурс» было выбрано нами именно потому, что для изучения взаимодействия судебного красноречия, художественной литературы и литературной критики второй половины XIX – начала XX вв. как фактора развития литературного языка критическое значение имеет учёт экстралингвистических факторов, элементов риторической ситуации, прагматики и социального аспекта (тех самых идеологических, культурных и психологических «компонентов определенного социума, детерминированных историческим временем и местом» (Клушина, 2011)), без которых анализ явлений в данной диссертации был бы если не невозможен, то неполон. Использование понятия «функциональный стиль» привело бы к риску ограничиться лишь паттернами языка и выявлением типического для этих сфер общения.

Как было отмечено ранее, единого подхода к типологизации дискурсов не существует. Пользуясь определённой степенью свободы, мы в нашей диссертации будем рассматривать судебный дискурс, который является институциональным, и художественный. Последний с теоретической точки

---

<sup>7</sup> Чрезвычайно интересное описание точек зрения на эту проблему, а также взглядов исследователей на разграничение дискурса и функционального стиля приводит О.В. Орлова в своей статье «Проблема соотношения понятий стиля и дискурса в лингвистике начала XXI в. в контексте идей М.Н. Кожинной» (Орлова, 2013).

зрения также достаточно сложен: как отмечал Т.А. ван Дейк, определить его исключительно по лингвистическим признакам часто бывает практически невозможно, поэтому он должен, в первую очередь, определяться по прагматическому критерию (Dijk, 1981).

Ю.М. Лотман, размышляя над особенностями языка искусства, писал, что к нему не применимо традиционное понятие формы, ведь «используя тот или иной естественный язык, язык искусства делает его формальные стороны содержательными» (Лотман, 1970, с. 28). Вероятно, то же самое можно сказать и о художественном дискурсе, который вбирает в себя элементы других дискурсов, переосмысливает их и наполняет специфическим содержанием.

Поскольку дискурс связан с определёнными институтами и социальными практиками, то можно предположить, что для каждого типа дискурса характерен определённый набор ситуаций, в которых находит свою реализацию тот или иной вид убеждающей речи и риторический жанр, которые сами по себе способны оказать влияние на развитие литературного языка.

### **1.5. Виды убеждающих речей и риторические жанры; их роль в развитии литературного языка**

С античных времён в риторике принято разделять красноречие на эпидейктическое, или торжественное, судебное и совещательное. Эта классификация была предложена и подробно описана Аристотелем в его трактате «Риторика» (Аристотель, 2015). Несмотря на то, что с момента появления трактата прошло более двух тысяч лет, эта схема остаётся актуальной и сегодня: в качестве её главных достоинств называют способность вбирать в себя новые явления, например коммерческую рекламу, пропаганду или привычную для европейской цивилизации, но неизвестную во времена философа христианскую проповедь (Хазагеров, 2017).

Изначально каждый из трёх типов красноречия связывался с определённым типом слушателей и темпоральной спецификой обсуждаемого предмета. Так, эпидейктическое красноречие, чьей задачей, согласно Аристотелю, была похвала или порицание, связывалось преимущественно с настоящим временем; слушатели не принимали никаких решений, а лишь выступали в качестве зрителей и оценивали дарование оратора (Аристотель, 2015 с. 76).

В контексте судебного и совещательного красноречия, напротив, зритель выступает в качестве судьи: в первом случае он выносит суждение о том, что уже случилось, а во втором – что должно случиться. Здесь Аристотель приводит в качестве примеров суд, где разбираются прошедшие события, и народное собрание, где решается будущее (результатом в обоих случаях будет или принятие, или отклонение) (Аристотель, 2015, с. 77).

Классификация Аристотеля учитывала, в первую очередь, жанры риторики, которые были актуальны для демократических Афин с их судом присяжных (дикастерием), Советом пятисот (буле) и народным собранием (эκκλeσιeй) (Рере, 2013, с. 9–13). Эпидейктическое красноречие было представлено преимущественно приветственными и прощальными речами, панегириками, эпитафиями и надгробными речами (Рере, 2017, с. 25).

В отдельных жанрах нередко проявлялась индивидуальность оратора: так, например, историк риторики Дж. Кеннеди отмечал, что в более поздних надгробных речах Горгия можно обнаружить необычные своей яркостью антитезы (Kennedy, 1994, с. 20). В контексте античной риторики, которая строилась на изучении прецедентов и освоении успешного опыта предшественников, эта деталь кажется нам чрезвычайно важной: языковые находки успешного оратора подхватывались, изучались последующими поколениями и тем самым постепенно превращались в достояние всего языка. Т.е. имело место то самое индивидуальное влияние на развитие языка, о котором мы писали в одном из предыдущих параграфов.

Предложенная Аристотелем схема не потеряла своей актуальности даже тогда, когда античные институты уступили место новым реалиям: аристотелевская триада лишь переосмыслилась, в неё включались новые риторические жанры<sup>8</sup>. Так, например, Кассиодор в середине VI в. н.э. соотнес весь корпус текстов Псалтыри с аристотелевскими родами красноречия (Copeland, 2012). Позднее, в VIII в., когда риторика потеряла эпистемологическую силу и оказалась подчинена теологии, Алкуин проиллюстрировал каждый из типов примерами из Священного писания (Copeland, 1995, с. 59). С развитием теологии и гомилетики стал бурно развиваться жанр проповеди, который относится к эпидейктическому красноречию.

Здесь стоит отметить, что определение эпидейктической речи было впоследствии расширено: если Аристотель определял её как речь, задача которой – похвала или порицание, то современные исследователи (например: Хазагеров, 2020; Rosenfield, 1990) отмечают её постулятивность; эпидейктическая речь направлена на консолидацию аудитории, она не предполагает диалога, в отличие от полемического по своей природе совещательного и судебного красноречия (Хазагеров, 2020). Подобный подход к эпидейктическому красноречию предполагает, что к нему можно отнести связанные с образованием и воспитанием дидактические жанры, политическую пропаганду, религиозную проповедь и коммерческую рекламу (Хазагеров, 2017 с. 39–40).

Обратившись к истории языка, можно увидеть, что эпидейктические жанры нередко способствовали развитию и обогащению литературного языка.

Так, в греческой и римской античности существовал эпидейктический жанр эпиталамы – особой свадебной песни (Krummen, 2015). В елизаветинской Англии моду на этот жанр ввел Эдмунд Спенсер, в 1595 г. опубликовавший “Amoretti and Epithalamion” (Krūminienė, 2017, с. 9–10). К

---

<sup>8</sup> Как остроумно заметили в своей монографии историки риторики Алан Гросс и Артур Уолцер, вся последующая риторическая теория – лишь серия ответов на вопросы, поднятые Аристотелем в своем фундаментальном трактате (Gross, 2008, с. ix).

эпиталаме обращались Джон Донн, Бен Джонсон; исследователи также относят к этому жанру отдельные фрагменты пьес «Ромео и Джульетта» (McCown, 1976) и «Сон в летнюю ночь» Шекспира (Bloom, 1998).

Однако “Epithalamion” Спенсера интересен не только как образец нового для английской литературы жанра, но и как источник языкового и поэтического новаторства. В Англии конца XVI в. доминировало мнение о скудности средств национального языка и его более низком положении по отношению к языкам классическим (Mutter, 2021). С подобным отношением к английскому языку активно боролись английские гуманисты и поэты, которые стремились сделать своё искусство доступным не только для узкого круга придворных, но и для простых людей: этой задаче в значительной степени содействовало распространение образования и расширение читательской аудитории (Mutter, 2021). Перед писателями и поэтами стояла особая задача: преодолеть то самое сопротивление языкового материала и раскрыть потенциал национального языка.

В своих поэтических текстах Эдмунд Спенсер отдавал предпочтение не латинским терминам или заимствованиям из романских языков, а староанглийским словам, стараясь тем самым подчеркнуть особый ритм и каданс, присущий английскому языку (Zurcher, 2005). Эпидейктический свадебный гимн “Epithalamion” относится к позднему периоду творчества Спенсера, поэтому есть все основания полагать, что этот текст, написанный после такой новаторской с точки зрения истории языка и поэтической формы поэмы, как “The Faerie Queene”, отражает те же попытки развить национальный язык, раскрыть его потенциал и сделать прекрасным инструментом для передачи мелодики английского языка и самого широкого спектра эмоций и опыта<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> В одной из своих заметок Эндрю Зеркер, один из крупнейших специалистов по творчеству Спенсера, Сидни и Шекспира, обращал внимание на одну важную с точки зрения анализа влияния текстов на развитие языка деталь: крайне трудно, а иногда и невозможно сказать точно, какой элемент является новаторским; история языка не предлагает нам метода, который позволил бы

Ещё один любопытный пример можно обнаружить в истории русского литературного языка. А.А. Алексеев в своих очерках писал, что в период царствования Елизаветы Петровны в церковных проповедях использовались и развивались приемы Стефана Яворского, Гавриила Бужинского и Феофана Прокоповича. Этот риторический опыт церкви впоследствии был перенесён Ломоносовым на светскую почву и лег в основу академического красноречия. Связь церковной и университетской риторики усиливалась также благодаря тому, что многие профессора (например, переводчик А.А. Барсов, профессор медицины С.Г. Зыбелин и др.) были выпускниками семинарий и Славяно-греко-латинской академии (Алексеев, 2013, с. 328–329). Таким образом, жанр проповеди, который являлся частью религиозного дискурса, повлиял на формирование университетской риторики. Этот процесс, в свою очередь, позволил обогатить и расширить сферу русского литературного языка, который должен был адаптироваться к новой реальности.

Вероятно, подобная адаптация стала возможной не в последнюю очередь благодаря тому, что и жанры университетской риторики, и церковная проповедь относятся к эпидейктическому роду красноречия, т.к. представляют собой трансляцию идей и не предполагают реального диалога. Намного большей проблемой стали бы попытки адаптировать эпидейктические жанры к нуждам полемических форм риторики. Когда после проведения Судебной реформы 1864 г. в России был введён суд присяжных, современники явственно ощутили отсутствие подходящей риторической традиции, ведь раньше не представлялось «возможности для проявления ораторского таланта, за исключением, да и то очень условным, университетских кафедр» (Тимофеев, 1900, с. 1). Эпидейктическая риторика университетов не могла обеспечить полемическую судебную риторику

---

сделать вывод с абсолютной уверенностью (Zurcher, 2005). Изучение взаимодействия дискурсов и их влияния на литературный язык сталкивается с аналогичной проблемой. Изменения языка в данном случае превращаются едва ли не в кантовский ноумен, постижимый лишь умственной интуицией.

подходящими инструментами для решения государственными обвинителями и адвокатами их ораторских задач.

Мы начали рассмотрение жанров и родов красноречия именно с эпидейктического отчасти потому, что оно, как полагают исследователи, возникло раньше совещательного и судебного (например: Rosenfield, 1990). В архаичном обществе эпидейктизм создавал формализованное, ритуализованное пространство общения и подчинял себе ещё не оформившиеся типы гражданской риторики (Walker, 2000, с. 13–16). Лишь позднее, когда начали развиваться демократические институты, полемические формы риторики стали востребованными и значимыми.

Судебная риторика связывается преимущественно с речами обвинителей и защитников в суде, хотя в более широком смысле её специфика состоит в том, что слушатели должны принять решение на основе уже произошедших событий; особое внимание в судебном красноречии уделяется логическим доказательствам и фактам; в отличие от эпидейктического красноречия оно не рассчитано на мгновенный эффект, в большей степени опирается на парадигмы<sup>10</sup> и в меньшей – на параболы (Хазагеров, 2009, с. 49–50).

Судебные речи в высшей степени полемичны: защитник и обвинитель пребывают в постоянном противоборстве друг с другом, они представляют доказательства, приводят аргументы и контраргументы. Кроме того, в жанрах судебной риторики постоянно происходит взаимодействие разных дискурсов, от собственно правового, до медицинского, научного, религиозного, а также специальных дискурсов (если суть разбираемого дела связана, скажем, со специфической областью человеческой деятельности).

Что же касается совещательной риторики, то она связана с принятием решений в будущем (Аристотель, 2015) и охватывает самые разные стороны человеческой жизни: политическую, экономическую, правовую

---

<sup>10</sup> В данном случае парадигма понимается как риторический троп, т. е. как «пример, часто исторический, или иллюстрация данного явления, часто образцовая, ссылка на казус» (Хазагеров, 2009, с. 272–273).

и др. (Хазагеров, 2009, с. 49). Наиболее важным видом совещательного красноречия принято считать парламентскую риторику (Хазагеров, 2009, с. 49). Дебаты и принятие решений по государственным вопросам также неизменно связаны со столкновением разных дискурсов: в обсуждении, например, экологической повестки с большой долей вероятности встретятся элементы экономического, медицинского, научного, правового и даже философского дискурса.

Полемические жанры риторики также способны оказывать влияние на развитие и обогащение литературного языка. Это видно, в частности, на примере русской публицистики второй половины XIX в., которую подробно описывал В.В. Виноградов в своих «Очерках по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» (Виноградов, 1981). В тот период доминирующая роль перешла публицистике, которая вскоре стала оказывать влияние на художественную литературу и язык в целом, причём на уровне не только лексики и фразеологических оборотов, но и семантики, способов словообразования (В.В. Виноградов, ссылаясь на Я.К. Грота, указывал на возрождение архаичного, церковно-книжного словообразования (Виноградов, 1981, с. 428)). Происходило смешение книжного языка с просторечием, которое иногда носило провинциальный отпечаток; благодаря публицистике в литературный язык и даже поэтические тексты стала проникать терминология и иностранные заимствования, которые были связаны с социально-экономической сферой, политикой, естественными науками, технологиями (Виноградов, 1981, с. 430–434).

То, что мы отнесли публицистику к сфере совещательного красноречия, может показаться непозволительной вольностью, однако, если вновь обратиться к определениям совещательного красноречия, которые приводились ранее, можно убедиться, что полемика в рамках публицистики вполне может быть отнесена к совещательной: авторы текстов полемизируют друг с другом по общественно-политическим, научным или философским вопросам, там самым пытаюсь найти, например, благоприятный вариант

политического, экономического или культурного развития государства и общества. Авторами приводятся аргументы, примеры и прецеденты с целью показать, что является благоприятным и неблагоприятным для будущего. В то же время читатель, даже самый рядовой, выполняет роль судьи: изучив точки зрения, он выносит свой собственный вердикт, принимает ту или иную сторону (результаты читательского суда могут быть видны по изменению настроений в обществе).

Более классическим примером того, как совещательное красноречие может оказывать влияние на развитие и обогащение языка, могут стать процессы, происходившие в британском парламенте в конце XIX – начале XX вв. Обратившись к корпусу британских парламентских речей (Hansard Corpus), группа финских исследователей изучила материалы дебатов и стенографические отчеты за 1870–1930 гг. (Hiltunen, 2020). Анализ показал, что демократизация британского общества привела к демократизации парламентского языка. Острая необходимость ясно, точно и объективно донести суть обсуждаемых вопросов до максимально широкой аудитории привела к очевидному сдвигу, который проявился, в частности, в более активном использовании неформальной формы будущего времени (*going-to future*), местоимений первого лица единственного числа и оборотов с *I think* (Hiltunen, 2020). Таким образом, изменения в парламентском языке, который обычно жестко регулирован и ограничен нормой (Mair, 2006), укрепило и легитимизовало тенденцию к использованию в литературном языке разговорных грамматических форм и синтаксических элементов.

Полемический характер судебной и совещательной риторики делает эти два рода красноречия наиболее продуктивными для развития и обогащения литературного языка. Эта идея была обстоятельно и убедительно изложена Г.Г. Хазагеровым: он отмечал, что полемика всегда служит «толчком к развитию языка и в когнитивном, и в коммуникативном отношении» (Хазагеров, 2017, с. 352). В ходе полемики «спорящие вынуждены вдумываться в слова», а сами споры «часто ведут к образованию

неологизмов, окказиональных значений слов, внутренних, присущих данному спору перефраз и цитаций» (Хазагеров, 2017, с. 353). Однако это не означает, что полемические жанры более полезны и ценны: только баланс между полемическими и неполемическими жанрами способен обеспечить благоприятную среду для культивирования коммуникативного пространства (Хазагеров, 2017, с. 357–358).

## **Выводы**

Исследование показало, что наиболее удобным для анализа развития языка является понятие «литературный язык», а не «языковой стандарт». При всей своей схожести и существующей тенденции к синонимичности употребления, эти понятия существенно различаются расстановкой акцентов: если языковой стандарт связан преимущественно с нейтральным употреблением, нормой и образовательными стандартами, то литературный язык – с развитой стилистической дифференциацией, богатством средств выражения, заложенным в нем потенциалом для дальнейшего развития и возможностью его культивирования. Литературный язык обладает гибкой стабильностью, его можно и нужно улучшать, причём усилиями не только лингвистов, но и всех членов языкового сообщества.

На развитие литературного языка оказывают влияние внешние изменения в жизни общества; деятельность отдельных носителей языка (преимущественно писателей и поэтов) и всего языкового коллектива; столкновение стилей одного языка или систем двух разных языков.

Несмотря на то, что в классических работах по литературному языку речь, как правило, идет о функциональных стилях языка, в рамках настоящей диссертации мы будем использовать понятие дискурса, предложенное Н.Д. Арутюновой. Дискурс не имеет однозначного определения и типологии, однако исследователи сходятся во мнении, что он отражает необходимость

анализа социальных аспектов, положения говорящего и слушающего, а также прагматику речи, в то время как функциональный стиль связан с паттернами языка и выявлением типического для той или иной сферы общения.

Поскольку дискурсы связаны с определёнными институтами и социальными практиками, то можно сказать, что для каждого типа дискурса имеется набор характерных ситуаций, в том числе и тех, в которых реализуется тот или иной риторический жанр.

В разные периоды истории доминируют разные типы красноречия со своим специфическим набором риторических жанров, которые относятся к одному из трёх родов красноречия, выделенных ещё в античные времена: совещательному, судебному и эпидейктическому. Первые два исследователи относят к полемическим видам риторики, а третий – к неполемическим, т.к. эпидейктическое красноречие по своей природе постулятивно и не предполагает диалога.

Полемические и неполемические формы риторики могут оказывать влияние на развитие и обогащение литературного языка, однако наиболее продуктивными в этом плане являются именно полемические жанры, т.к. в процессе дискуссии говорящие вынуждены внимательно анализировать сказанное оппонентом и искать средства выражения своей мысли. Тем не менее только баланс полемических и неполемических жанров способен обеспечить условия для гармоничного развития литературного языка и его культивирования.

## ГЛАВА 2. СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### 2.1. Общая характеристика русского судебного красноречия конца XIX – начала XX вв.

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию судебного красноречия конца XIX – начала XX вв., было бы справедливым несколько слов сказать о том, что представлял собой судебный дискурс в первой половине XIX в. Подобное отступление может показаться излишним для данной диссертации, однако масштаб и радикальный характер перемен, которые произошли в судебном дискурсе в результате реформы 1864 г., особенно ярко видны именно при сравнении со старым порядком.

К началу правления Александра II судебная система в Российской империи значительно устарела, она была чрезвычайно громоздкой и малоэффективной. Несмотря на то, что ещё при Екатерине II был провозглашен принцип разделения властей, на деле он отсутствовал, и в правосудие вмешивалась вся административная вертикаль от пристава до министра (Бочкарев, 1915, с. 206); исполнительной власти были вручены все виды дел от хозяйственных до судебных (Иванюков, 1882, с. 349).

Ситуация усугублялась и тем, что дореформенное судопроизводство было письменным и тайным (Акишин, 2016; Иванюков, 1882, с. 350). Рассмотрение дел могло длиться годами, а иногда – десятилетиями (Гессен, 1905, с. 18), дела «повсюду умирали и убивались в застенках канцелярий» (Бочкарев, 1915, с. 210). Ни о какой состязательности в дореформенном суде не было и речи, т.к. при разборе доказательств царил формальный подход (Гессен, 1914, с. 18; Кони, 1968, с. 166).

Доступ к материалам дел первой половины XIX в. чрезвычайно затруднителен, а подчас и невозможен, однако некоторые источники всё же

позволяют составить представление о том, какими были эти дела. Чрезвычайно любопытна в этом отношении изданная в 1851 г. книга В.В. Лукина «Опыт практического руководства, к производству уголовных следствий и уголовного суда, по русским законам, составленный для следователей, судей и стряпчих» (Лукин, 1851). В приложении к работе, которая всецело посвящена правилам судебного производства и следствия, приведены образцы прошений, докладных записок, расписок, подписок и множества других документов подобного рода. Они чрезвычайно кратки, формализованы, предельно информативны и адресованы исключительно другим чиновникам. При изучении приведённых В.В. Лукиным образцов нельзя не заметить, что они несут на себе явный отпечаток внутриведомственной переписки. Их определяет совершенно иной институциональный контекст и совершенно иная, чем в суде присяжных, прагматика: цель этих документов и записок – в условиях перегруженной бюрократии кратко сообщить информацию; для убеждения здесь просто не было места (как мы уже сказали, исследование доказательств судьями носило формальный характер).

Именно в таком состоянии находилась судебная система накануне реформы 1864 г., которая внесла кардинальные изменения в существовавший порядок. Реформа должна была не только, исходя из научных достижений и опыта других европейских государств, осовременить судебную систему (Набоков, 1915, с. 306), но и поднять её авторитет в глазах народа, о чём прямо говорилось в указе Александра II Правительствующему Сенату (Судебные уставы, 1867, с. XXXVIII).

Правовед С.И. Зарудный полагал, что реформа суда, в том виде, в котором она воплотилась в жизнь, была логичным следствием отмены крепостного права, при котором не было необходимости в справедливом суде (Джаншиев, 1905, с. 396–397). В каком-то смысле она даже уравнила подданных империи, которые теперь могли стать присяжными: несмотря на то, что существовал определенный ценз и правила отбора (Казанцев, 1991,

с. 7) , могла сложиться ситуация, когда крестьяне судили дворянина, как это было в 1883 г. во время слушаний по делу обвинявшегося в убийстве князя Г.И. Грузинского. Юрист и общественный деятель Н.В. Давыдов во введении к сборнику работ, посвящённому истории суда в Российской империи, писал, что в результате крестьянской и судебной реформ рухнули поддерживавшие ранее государственный и общественный строй крепостное право и строгая сословность (Давыдов, 1915, с. III).

После проведения реформы 1864 г. произошло отделение суда от административной власти; судьи стали независимыми и несменяемыми, судопроизводство стало открытым и гласным (Федоров, 2020, с. 37); был введён суд присяжных и создано сословие присяжных поверенных, т.е. адвокатов, которые должны были обеспечивать состоятельность прений (Васьковский, 1893, с. 216).

Новая система разительно отличалась от старой: произошла полная трансформация института, которая неотвратимо должна была привести к изменению дискурса. Судебные чиновники теперь не могли ограничиться сотней-другой служебных записок: формат пореформенного суда присяжных подразумевал полемику, примат не письменных, а устных текстов (судебных речей), которые должны были убедить присяжных, происходивших из самых разных сословий, в виновности или невиновности подсудимого. При этом аудитория судебных ораторов, благодаря гласности, была представлена не только присутствовавшими на заседании: пресса, ставшая во время правления Александра II более либеральной, подробно освещала ход многих процессов; на страницах газет и всевозможных листков печатались речи защитников и обвинителей (Гессен, 1914, с. 152–153). Адвокаты, разбираясь в подробностях и причинах преступлений, нередко затрагивали острые общественные и политические вопросы, что неминуемо привлекало к их речам особенно пристальное внимание общества (во многом именно это привело к попыткам со стороны власти в конце XIX в. предпринять целый ряд мер,

которые должны были ограничить независимость адвокатуры (Казанцев, 1991, с. 14)).

Нетрудно себе представить, в каком сложном положении оказались первые присяжные поверенные (адвокаты), столкнувшиеся с отсутствием в России крепкой традиции полемической – тем более судебной – риторики, на которую можно было бы опереться.

Безусловно, существовал опыт западных коллег. Особое внимание в России привлекала деятельность французских адвокатов: известно, что во второй половине XIX в., особенно в 1860–1870-х гг., их речи не только печатались в русских газетах и журналах, но и издавались в виде сборников (Чалхушьян, 1891, с. 5). Примечательно, что присяжные поверенные посвящали деятельности французских коллег целые статьи: например, К.К. Арсеньев делал публикации на эту тему в «Вестнике Европы» (Вестник Европы, 2021); Н.П. Карабчевский написал комментарий к книге французского адвоката Леона Клери (Карабчевский, 1902) и посвятил статью Симону-Николя Анри Лэнге, французскому журналисту и адвокату второй половины XVIII в. (Карабчевский, 1902).

Стоит отметить, что удостоивалась внимания не только французская адвокатура: это видно, в частности, по работе процессуалиста и адвоката Е.В. Васьковского, который в первой части своего труда «Организация адвокатуры» посвятил значительный фрагмент описанию адвокатуры в Англии, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии и ряде других стран, в том числе неевропейских (Васьковский, 1893).

Все время мы упоминали адвокатов, однако справедливости ради следует отметить, что не только они формировали судебное красноречие – обвинители не в меньшей степени были вовлечены в этот процесс. Атмосфера риторических поисков прокуратуры хорошо передана в одном из биографических очерков А.Ф. Кони: юрист отмечал, что в пореформенный период служебная деятельность требовала значительной творческой работы, поскольку было необходимо выработать новый «тип обвинителя» (Кони,

1968, с. 169). Опыт зарубежных коллег далеко не всегда оказывался полезным: английское судоговорение слишком сильно отличалось от русского и не давало достаточного материала; немецкое было слишком сухим и схематичным; а французское, хотя и было самым доступным благодаря печати, не только казалось слишком искусственным и пафосным, но и нередко расходилось с этическими установками русских юристов, которые не подразумевали враждебное восприятие подсудимого и требовали от прокурора не только осуждения доказанного преступления, но и сдержанности, уважения к человеческому достоинству (Кони, 1968, с. 169).

Присяжные поверенные и прокуроры не подражали, а пристально анализировали и переосмыслили чужой риторический опыт: как писал в 1900 г. правовед А.Г. Тимофеев, речи русских адвокатов носили отпечаток оригинальности и самостоятельности, что позволяет говорить не о простом подражании, а о самостоятельном русском судебном красноречии (Тимофеев, 1900, с. 2). У ораторов второй половины XIX – начала XX вв. был также другой, более мощный источник, из которого они черпали ресурсы для формирования судебного красноречия и судебного дискурса в целом, а именно русская литература и литературная критика.

## **2.2. Роль художественной литературы в становлении литературного языка**

Прежде чем перейти к рассмотрению влияния русской литературы на развитие судебного красноречия, нам видится необходимым сказать несколько слов о том, какую роль играет язык художественной литературы в становлении и развитии литературного языка. Подобное отступление отчасти отсылает нас к первой главе диссертации, однако сейчас нам бы хотелось уделить внимание именно тем процессам, которые позволяют считать язык

художественной литературы одной из главных движущих сил литературного языка.

Язык художественной литературы традиционно определяется или как «язык, на котором создаются художественные произведения», т.е. своего рода наддиалектная форма общения, или как «система правил, лежащих в основе художественных текстов, как прозаических, так и стихотворных, их создания и прочтения», т.е. это поэтический язык, выполняющий эстетическую функцию национального языка (Русский язык, 1997, с. 666). В контексте данной диссертации наибольший интерес для нас представляет именно второе определение, т.к. оно связано с более поздним этапом развития национального языка, на котором язык художественной литературы утрачивает лексические, грамматические и фонетические отличия и возрастают его отличия именно как поэтического языка (Русский язык, 1997, с. 667)<sup>11</sup>.

Лингвистами отмечалось, что язык художественной литературы и литературный язык находятся в сложных отношениях: с одной стороны, понятие «литературный язык» оказывается шире, чем понятие «язык художественной литературы», поскольку оно включает в себя язык не только художественной литературы, но и публицистики, официально-деловых документов, науки и бытового общения; с другой – язык художественной литературы оказывается более широким понятием, т.к. в художественное произведение могут быть включены элементы, находящиеся за пределами литературного языка, например диалектные слова и жаргонизмы (Общее языкознание, 1970, с. 504).

Язык художественной литературы зачастую становится полем столкновения разных элементов. Так, например, в середине XIX в., когда русская литература пошла по пути реализма, перед писателями стояла задача отразить действительность во всей её полноте. Стремление воспроизвести многообразие социальных, профессиональных, диалектных и

---

<sup>11</sup> В дальнейшем «язык художественной литературы» и «поэтический язык» будут использоваться нами как синонимы.

характерологических особенностей привело к тому, что в реалистическую литературу и беллетристику стали проникать внелитературные элементы (Винокур, 1959, с. 100).

Похожие процессы имели место в творчестве итальянских писателей-веристов на рубеже XIX–XX вв. Один из самых ярких представителей этого реалистического направления, черпавшего вдохновение преимущественно в работах Э. Золя и Г. Флобера, был романист Джованни Верга (Luperini, 2007). Его желание детально воспроизвести среду столкнулось с чисто лингвистическим препятствием: можно было построить художественный текст на литературном итальянском языке, но тогда пришлось бы отказаться от реалистичного изображения сицилийских провинциалов и мелкой миланской буржуазии. Чрезмерное же использование элементов диалекта сделало бы роман непонятным для большинства читателей объединенной Италии. Джованни Верга пошел по третьему пути и, взяв за основу литературный язык, использовал вкрапления диалектизмов, что позволяло передать колорит и характер персонажей (причём на уровне не только лексики, но и синтаксиса, который был упрощен и приближен к разговорной форме) без ущерба для восприятия (Piomalli, 2021; Alfieri, 2011). Поэтика веристов, таким образом, стремилась приспособить литературный язык к изображению итальянской действительности во всем её многообразии (Piomalli, 2021).

Внелитературные элементы могут со временем стать частью литературного языка. Благодаря Чарльзу Диккенсу в разряд общеупотребительных перешли такие слова, как “dolly”, “dustbin”, “flummox”, “sit-down” и др. (Crystal, 2019, с. 25–26). Английское слово “sawbones”, которое изначально было частью сленга, после выхода в 1837 г. романа «Записки Пиквикского клуба» заняло место в литературном языке – его можно встретить у Герберта Уэллса, Марка Твена и Роберта Льюиса Стивенсона (Merriam-Webster Dictionary, 2021). Оно употребляется и сегодня, хотя зачастую приобретает юмористический, ироничный оттенок.

Свобода поэтического языка позволяет авторам использовать в рамках одного художественного текста самые разные стили (Будагов, 1967, с. 19). Если обратиться к истории русской литературы, то можно вспомнить Радищева, который сталкивал в своих текстах стилистически противоречивые языковые элементы и старался создать стилистически ёмкий контекст, что послужило толчком для дальнейшего развития литературного языка (Алексеев, 2013, с. 326–327). Смещение трёх стилей в рамках одного художественного произведения подразумевала творческая деятельность Фонвизина, Державина, Крылова и Карамзина, что разрушало ломоносовскую систему с её принципом единства слога на протяжении всего произведения (Виноградов, 1978, с. 204)<sup>12</sup>.

Литературный язык, таким образом, служит для поэтического языка фоном, «на который проектируется структура поэтического произведения и по отношению к которому она воспринимается как деформация» (Мукаржовский, 1967, с. 422–423). Поскольку в поэтическом творчестве на передний план выходит сам акт выражения, а не сообщение – как, например, в случае научного текста, – язык художественной литературы тяготеет к максимальной актуализации (деавтоматизации), которая становится самоцелью; однако актуализация всех элементов невозможна, т.к. выдвинутые на передний план элементы познаются в сравнении только с фоном (Мукаржовский, 1967, с. 409–410)<sup>13</sup>. Поэтический язык стремится «обратить внимание на само выражение, чтобы достичь эстетической действенности языка» (Гавранек, 1967, с. 356).

Актуализация может происходить на уровне: 1) лексики, когда отдельные слова переносятся в другую среду (одним из примеров здесь может послужить стилистическая диссимиляция) [52, с. 356, 360]; 2) семантики,

---

<sup>12</sup> В процитированной работе В.В. Виноградов прямо пишет, что «художественная литература – мощный двигатель развития языка» (Виноградов, 1978, с. 205).

<sup>13</sup> О том, что отклонения в языке всегда происходят на некоем фоне, писал также Г.О. Винокур. В статье «Язык типографии» он подчёркивал, что особое смысловое содержание элементов возникает лишь тогда, когда они соотнесены с другим элементом (Винокур, 1929, с. 224–225).

когда речь идет об отдельных словах и их расположении (сюда относятся риторические фигуры и поэтические метафоры) (Гавранек, 1967, с. 360–361); 3) грамматики, где основная роль выпадает синтаксическим структурам (Гавранек, 1967, с. 361).

Любопытным примером актуализации на уровне синтаксиса может послужить язык английской поэзии и прозы XVIII вв. Если в XVII в. преобладали предикативные конструкции, причём не только в кратких, но и в составных частях сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, то уже в начале XVIII в. поэты обратились к наработкам предшественников (Дж. Сильвестра, Э. Спенсера, Дж. Мильтона и Р. Блэкмора) и стали активно использовать квалификативные конструкции (Miles, 1968, с. 36). Начиная с Адама Смита и Эдварда Гиббона, которые опирались на опыт Томас Брауна и современных им поэтов, аналогичная тенденция возникла и в языке прозы (Miles, 1968, с. 36). Отголоски этого процесса ощущались на протяжении всего XIX в., когда адъективные конструкции проникли даже в научный язык, что видно, в частности, по естественно-научным работам Чарльза Дарвина (Miles, 1968, с. 38–39).

Точку зрения, схожую с идеями Пражского лингвистического кружка, высказывал Г.О. Винокур: он отмечал, что для художественной литературы характерна глубокая рефлексия над языком, которая «мотивирует немотивированное» и «наполняет живым смыслом конвенциональное»: так, например, грамматическая категория рода может получить особое внутренне содержание, что и произошло в стихотворении Г. Гейне “Ein Fichtenbaum steht einsam” (Винокур, 1959, с. 249).

В данном параграфе мы особенно часто обращаемся к XIX в. во многом потому, что художественная литература этого периода постепенно охватывала все стороны жизни и, как следствие, стремилась использовать все доступные ресурсы языка, выступая при этом как организующий фактор развития языка (Виноградов, 1978, с. 179).

Как отмечал А.А. Алексеев, начиная с литературных опытов Карамзина, в России стали складываться «условия для приобретения языком художественной литературы первенства в языковом развитии, для устранения конфликта между разными стилями литературного языка» (Алексеев, 2013, с. 202), и уже в XIX в. литература стала самым главным регулятором языковых процессов (Алексеев, 2013, с. 112). Это видно, в частности, по творческой деятельности А.С. Пушкина, которая привела не только к семантическому сближению литературного и народного языков, но и к сдвигу в области синтаксиса, который стал компактнее, логически прозрачнее, но при этом экспрессивнее; он также создал образцы повествовательной и исторической прозы (Виноградов, 1978, с. 54–55). Впоследствии М.Ю. Лермонтов углубил семантическую систему литературного языка, приспособив его для метафизических нужд: выражения отвлечённых понятий, сложных чувств и философских вопросов (Виноградов, 1978, с. 55–56).

Примеры, приведённые в работе В.В. Виноградова «Основные этапы развития русского языка» (Виноградов, 1978), наводят на мысль, что творческая деятельность также вносит вклад в развитие литературного языка посредством культивирования речевых жанров, если понимать их в традиционном смысле как устойчивые типы высказывания, выработанные определёнными сферами использования языка, и как «типические формы построения целого» (Бахтин, 1986, с. 428, 448).

Как писал М.М. Бахтин, речевые жанры можно разделить на два типа. Первичные, или простые, складываются в условиях непосредственного речевого общения; ко вторичным (сложным) относятся романы, драмы, научные и публицистические тексты, которые вбирают в себя первичные жанры и трансформируют их (Бахтин, 1986, с. 430).

Примечательно, что М.М. Бахтин прямо указывал своей работе на тот факт, что в каждую эпоху развития литературного языка задают тон определённые первичные и вторичные речевые жанры. Когда литературный

язык начинает расширяться за счет нелитературных элементов, происходит перестройка и обновление речевых жанров, т.к. обращение к нелитературным слоям языка заставляет обращаться и к тем жанрам, в которых эти слои реализуются (Бахтин, 1986, с. 435).

Здесь, вероятно, можно предположить, что автор художественного текста, создавая вторичный жанр, может преобразовывать в соответствии со своим индивидуальным стилем, эстетическими и языковыми установками первичные жанры, обновлять и развивать их. Несмотря на то, что первичные жанры в этом случае будут, как справедливо отмечал М.М. Бахтин, существовать только как «события литературно-художественной, а не бытовой жизни» (Бахтин, 1986, с. 430), они могут стать своего рода прецедентом, который может быть или воспринят другими авторами и носителями литературного языка, или же по каким-то причинам отвергнут. Как отмечал в одной из своих статей Г.Г. Хазагеров, первичные речевые жанры, будучи художественно осмыслены в литературе, могут возвращаться в речь (Хазагеров, 2017, с. 353).

Упомянутые В.В. Виноградовым эксперименты А.С. Пушкина в области повествовательной прозы оказались чрезвычайно удачными: они трансформировали повествование (следуя критериям, предложенным М.М. Бахтиным для определения речевого жанра, можно заключить, что повествование как «изображение событий или явлений <...> следующих друг за другом или обуславливающих друг друга» (Солганик, 2001, с. 142) – первичный жанр) и тем самым сыграли роль в развитии литературного языка.

Подводя итог, можно сказать, что язык художественной литературы, благодаря способности вбирать в себя нелитературные элементы, соединять стили и переосмысливать речевые жанры, благодаря стремлению охватить разнообразные стороны и аспекты жизни (аналогичным образом литературный язык стремится охватить все явления действительности), является одним из наиболее мощных факторов развития литературного языка, его лексики, семантики и синтаксиса. Именно «на фоне богатой и

разнообразной художественной литературы, представленной выдающимися писателями, литературный язык становится богаче, выразительнее и разнообразнее» (Будагов, 1967, с. 21).

### **2.3. Монологизм и диалогизм художественной литературы.**

#### **Художественная литература как поле взаимодействия дискурсов**

В свете вопроса о влиянии художественной литературы на судебное красноречие нам могут указать на очевидное противоречие в нашей диссертации. Ведь художественная литература едва ли может быть отнесена к полемическим типам риторики, а непolemические типы, как говорилось в первой главе, оказываются малопродуктивны для развития совещательного и судебного красноречия.

Вопрос отношения художественной литературы к родам риторики чрезвычайно сложен и до сих пор далек от окончательного разрешения. Тем не менее целый ряд деталей позволяет сделать вывод о том, что художественная литература, действительно, может быть отнесена к эпидейктическому красноречию.

Как известно, Аристотель в своей «Риторике» не дал четкого определения и описания эпидейктического красноречия. Из текста трактата мы знаем, что задача эпидейктической речи состоит в том, чтобы хвалить или порицать (целью в данном случае служит «прекрасное и постыдное», но «сюда также привносятся прочие [sic!] соображения» (Аристотель, 2015, с. 77)); оно имеет дело с настоящим временем (хотя философ тут же делает оговорку, что ораторы могут использовать и другие времена, если необходимо вспомнить прошлое или выстроить предположения относительно будущего); слушатель такой речи выступает не как судья, а как простой зритель, который обращает внимание только на талант оратора (Аристотель, 2015, с. 76).

Эта неопределенность впоследствии не была устранена даже римлянами: в их самых ранних риторических трактатах торжественному красноречию уделялось мало внимания. Оно нередко изображалось как вторичное по отношению к совещательному и судебному, что не в последнюю очередь было связано с тем, что у римлян не было столь богатой эпидейктической традиции, как у греков, и это делало её подробное теоретическое описание нерелевантным для контекста римской культуры (Dugan, 2001, с. 38). Исследователи склонны полагать, что даже в трактате «Об ораторе» Цицерона эпидейктическое красноречие предстаёт как тип риторики, далекий от практической, утилитарной цели; оно «соотносится с судебной речью так же, как военный парад с настоящими боевыми действиями» (Dugan, 2001, с. 41)<sup>14</sup>. Акцент эпидейктического красноречия на ритме и украшении, его установка на то, чтобы доставить аудитории удовольствие, сближают его с поэзией (Dugan, 2001, с. 41).

Связь эпидейктического красноречия с литературой, особенно генетическая, заметна на примере греческой античности (Хазагеров, 2017, с. 351–352). Так, например, отмечается, что риторика Горгия оказала значительное влияние на развитие античной прозы (Зелинский, 1908). Ещё раньше, в эпиникиях Пиндара, которые относятся к хоральной лирике, обнаруживаются черты эпидейктического красноречия: проводя аналогии с мифологическими и религиозными сюжетами и амплифицируя их, Пиндар, при помощи дигрессии, показывал те основания и критерии, по которым оценивался победитель (Walker, 1989, с. 7). В античности существовали целые жанры, которые занимали пограничное положение между эпидейктической риторикой и литературой: к таковым можно отнести декламацию, которая наиболее тесно связана с художественной литературой (Webb, 2006).

---

<sup>14</sup> Примечательно, что аналогичное отношение к эпидейктической риторике сохранялось на протяжении последующих веков: в одной из классических работ, посвящённых «Риторике» Аристотеля, “An Introduction to Aristotle’s Rhetoric, with Analysis Notes and Appendices” 1867 г., Эдвард Мередит Коуп писал, что торжественное красноречие менее значимо, чем судебное и совещательное, так как оно показное и лишено практической цели (Пере, 2017, с. 17; Соре, 1867, с. 121).

Интересной деталью в контексте соотношения литературы и эпидейктического красноречия является тот факт, что в эпоху Ренессанса риторические трактаты – особенно работы Менандра Лаодикейского и Псевдо-Дионисия Галикарнасского – служили руководством к пониманию классических литературных жанров (Harsting, 2002, с. 48–49).

Итак, постулятивность, трансляция ценностей; роль наблюдателя, отводимая аудитории; установка на эстетическое и, как следствие, то самое стремление «обратить внимание на само выражение, чтобы достичь эстетической действенности языка» (Гавранек, 1967, с. 356), генетическое родство – вот те элементы, которые позволяют говорить о теснейшей связи эпидейктического красноречия и художественной литературы и заставляют согласиться с тем, что указание на упомянутое выше противоречие в нашей диссертации справедливо. Однако это противоречие может быть снято указанием на другую особенность художественной литературы, а именно – её способность быть монологичной и диалогичной, о чём писал М.М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» (Бахтин, 2017).

Согласно М.М. Бахтину, постановка идеи в литературе, как правило, монологична: идеи или утверждаются, и тем самым происходит объединение авторского видящего и изображающего сознания (Бахтин, 2017, с. 36–37), или отрицаются; однако отрицание какой-либо идеи, по мысли Бахтина, в принципе не предполагает полноценного её изображения (создание второго идейного акцента в этом случае привело бы к противоречию) (Бахтин, 2017, с. 35, 36–37). Идеи, которые автором не утверждаются, принимают форму социально-типической и индивидуально характерной мысли (Бахтин, 2017, с. 36–37). Таким образом, автор предстает идеологом; его идея как принцип изображения сливается с формой, она определяет оценки, которые образуют формальное единство и единый тон произведения (Бахтин, 2017, с. 37). Принципиально важным в контексте монологизма является также то, что в этом случае отсутствует дистанция между позицией автора и героя, их слова лежат в одной плоскости (Бахтин, 2017, с. 37–38). Герой не может выйти за

пределы своего образа и характера, ведь в этом случае он нарушил бы авторский замысел (Бахтин, 2017, с. 135).

Среди монологических авторов М.М. Бахтин называл А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и Н.С. Лескова; в полифонии отказывалось Шекспиру и Бальзаку (Бахтин, 2017). Реалистические романы с их «типическим», изображением «характеров» и повествовательным дискурсом вообще становятся для Бахтина воплощением монологичности (Кристева, 2000, с. 434).

Принципиально другими, по мнению философа, были романы Ф.М. Достоевского, который создал новую жанровую форму – полифонический роман, в котором присутствует множество равноправных сознаний с их собственными мирами (Магомедова, 2008, с. 174), т.е. диалогические отношения. Тем самым разрушаются формы европейского романа, который был преимущественно монологическим (гомофоническим) (Бахтин, 2017, с. 8).

В полифоническом романе Достоевского герой предстаёт не как совокупность черт и характерологических признаков, а как точка зрения на себя и на бытие (Бахтин, 2017 с. 135). Мысли героев становятся репликами незавершенного диалога. Достоевский скрывает собственное мнение за многоголосием персонажей: он «говорит не о герое, а с героем<sup>15</sup>» (Бахтин, 2017, с. 33), выражает чужую идею, но при этом не объединяет её со своей собственной и сохраняет дистанцию, благодаря которой герой не становится «рупором для его голоса», а само произведение не окрашивается в «личный идеологический тон автора» (Бахтин, 2017, с. 28, 168). Тем самым Достоевский преодолевает ограничения обычного реализма и достигает реализма в самом высоком смысле (Бахтин, 2017, с. 144).

Концепция М.М. Бахтина впоследствии уточнялась, развивалась, переосмыслялась другими исследователями. Для нас, в контексте настоящей диссертации, ценна сама идея напряженного диалога между персонажами и

---

<sup>15</sup> Курсив источника.

взаимодействия разных точек зрения, которые придают художественному тексту многогранность и психологизм (Алташина, 2016).

Противопоставление М.М. Бахтиным полифонического романа Ф.М. Достоевского монологическому роману Л.Н. Толстого оказалось настолько ярким, что современные исследователи даже говорят о том, что вся последующая модернистская проза XX в. так или иначе следует линии одного из них или же причудливым образом сочетает их, как это делал, например, Т. Манн в романе «Волшебная гора», где «авторитарность чисто толстовского авторского голоса» сочетается с пребыванием Ганса Касторпа в «интериндивидуальной зоне» своих «герменевтических педагогов» (Руднев, 1999, с. 217).

Однако, даже если подойти к диалогизму в литературе чуть менее строго, чем это сделал М.М. Бахтин, то можно обнаружить, что и в художественных текстах до Достоевского присутствуют ценные диалогические текстовые структуры. Это убедительно было показано Ю.М. Лотманом, который полагал, что непременным условием диалога является существование двух выраженных точек зрения, что «подразумевает наличие двух сопоставимых кусков текста, отличающихся направленностью, точкой зрения, оценкой, ракурсом и совпадающих по некоторому “содержанию” сообщения или его части» (Лотман, 1970, с. 101). Понимаемый таким образом диалог отчетливо виден в реалистических текстах Пушкина, где он, наравне с полилогом, проявляется на уровне стиля, интонаций, жанровых моделей, лексико-семантических систем и идеологических концепций; он присутствует и у Фонвизина, чьи тексты строятся диалогически, на основе «соединения сегментов с различными точками зрения» (Лотман, 1970, с. 103).

Проблемы диалога, и в особенности бахтинская концепция гетероглоссии, легли в основу теории интердискурсивности. В конце 1960-х гг., в эпоху перехода от структурализма к постструктурализму, теория М.М. Бахтина была перенесена на французскую почву Ю. Кристевой, которая

ввела в обиход термин «интертекстуальность»; в то же время вопросы дискурса разрабатывались М. Пешё и М. Фуко, которых также называют в числе предвестников теории интердискурсивности (Wu, 2011, с. 98–100).

Принято считать, что понятие интердискурсивности было введено Н. Фэйрклафом, который пытался создать более широкую концепцию интертекстуальности (Wu, 2011, с. 99). В современной лингвистике до сих пор нет четкого определения интердискурсивности. Наиболее подходящим, на наш взгляд, может послужить понимание её как использования в одном дискурсе и социальной практике элементов других дискурсов и социальных практик (Candling, 1997, с. 212).

Мнения исследователей расходятся по целому ряду ключевых вопросов, в том числе связанных с соотношением интертекстуальности и интердискурсивности: если одни склоняются к их синонимичности (Bartesaghi, 2015, с. 2), то другие стремятся развести эти понятия. В частности, лингвист У Цзяньго предложил рассматривать интертекстуальность как заимствование из других текстов внешних элементов, в то время интердискурсивность предполагает отсылку к целой языковой системе (Wu, 2011, с. 97), она связана с имплицитным взаимодействием дискурсивных формаций, а не с эксплицитными связями между текстами (Wu, 2011, с. 97).

Взаимодействие дискурсов может иметь место в коммуникации внутри самых разных институтов: от крупных корпораций (Bhatia, 2010, с. 38–39) до институтов судебной власти (Ren, 2020). Особого внимания здесь заслуживает литература. Как отмечал Вальтер Мозер в одной из своих работ, посвящённых текстам Роберта Музиля, художественная литература обладает уникальной способностью вмещать в себя широкий спектр дискурсов и тестировать их (Vatan, 2020). Особенно благоприятной для этих целей жанровой формой служит роман, который, благодаря своей гетерогенной природе, большей открытости и свободе, способен вбирать в себя самые разные элементы [Ågerup, 2013, с. 16).

Интердискурсивность и реконтекстуализация дискурсов позволяет создавать дополнительные уровни смысла и существенно обогащает структурно-семантический план художественного текста (например: Вако, 2021).

Если принять во внимание все то, о чём мы писали ранее в контексте развития литературного языка, можно с достаточной долей уверенности предположить, что столкновение дискурсов в художественной литературе является, в том числе, одним из факторов развития литературного языка.

В пользу этого предположения, с одной стороны, может говорить отмеченная Виджаем Бхатией особенность интердискурсивности, которая, в отличие от интертекстуальности, предполагает новаторство, попытки создания гибридных форм или же совершенно новых конструкторов посредством присвоения или использования уже существующих конвенций и ресурсов, связанных с другими жанрами и социальными практиками (Bhatia, 2010, с. 35). Т.е. это своего рода динамичный, продуктивный процесс.

С другой стороны, для дискурсов (причём не только в условиях их столкновения между собой) в целом характерны постоянные изменения. В этой связи интересно исследование Маркуса Райндорфа и Рут Водак, которые посредством количественного и качественного анализа изучили массив текстов, относящихся к дискурсу бизнеса, медиа и образования, с целью проследить изменения в австрийском варианте немецкого языка в период 1970–2010 гг. (Rheindorf, 2019). М. Райндорф и Р. Водак достаточно убедительно показывают, что изменчивость дискурсов едва ли не в первую очередь обусловлена внешним контекстом – сферой его бытования и социальными практиками, которые с ним связаны; дискурс и его лингвистическая сторона должны находиться в согласии с языковым сообществом и его целями (от этих факторов зависит в том числе масштаб и скорость изменений) (Rheindorf, 2019).

Подводя итог всему вышеизложенному, следует сказать, что, хотя художественная литература по целому ряду параметров и относится

к эпидейктическому роду красноречия, её способность быть диалогичной и включать в себя разнообразные дискурсы делает её ценным источником вдохновения и полезных приемов для полемических жанров, в частности для судебного красноречия. Поскольку интердискурсивность – динамичный процесс, а отдельные дискурсы, в силу своей связи с социальными практиками и необходимости соответствовать целям сообщества, становятся кузницами изменений языка, есть основания говорить о том, что интердискурсивность является ещё одним фактором развития литературного языка.

#### **2.4. Влияние русской литературы на развитие судебного красноречия и судебного дискурса конца XIX – начала XX вв.**

О том, какую колоссальную роль играла литература в жизни русского общества на протяжении всего XIX в., хорошо известно: достаточно будет лишь вспомнить, что принято говорить о литературоцентричности культуры того времени. Будучи сильно ограничены объёмом диссертации, мы не имеем возможности подробно рассмотреть эту сложную черту русской культуры и будем вынуждены лишь обратить внимание на некоторые её специфические детали, которые оказываются чрезвычайно важными в контексте изучения того влияния, которое русская литература оказывала на разные сферы, в том числе на судебное красноречие и судебный дискурс.

Историк литературы и литературно-художественной критики И.В. Кондаков в статье, посвящённой кризису литературоцентризма в советской и современной России, отмечал, что у русской литературы были сразу две точки опоры, которые сходились в языке: культуррефлексивная, «ориентированная на саморефлексию *культуры*», и социорефлексивная, «направленная на культурную рефлексию *социума*, всей совокупности социально-практических отношений» (Кондаков, 2008, с. 15). Функционирование литературы одновременно как культурного и социального

текста приводит к возникновению «диалога двух словесностей – “включённой” в литературу как в её язык (“художественная речь”) и “выключенной”<sup>16</sup> из литературы – как язык остальной, внелитературной культуры и общественной жизни» (Кондаков, 2008, с. 16). Несмотря на разную культурную семантику и прагматические противоречия, обе словесности апеллируют к одной национальной ментальности и к одной аудитории – читающей и мыслящей публике; в их диалоге «возможно не только взаимопонимание, но и вербальное взаимопроникновение» (Кондаков, 2008, с. 16).

Сходную мысль высказывал Ю.М. Лотман, когда писал об общественной роли русской литературы, которая, с одной стороны, была связана с чисто художественными задачами автора, а с другой – со способностью обойти цензурные запреты и посредством намёков, многие из которых теряют свою ценность за пределами русской культуры, выразить запрещённые мысли и темы (Лотман, 2002, с. 233).

Подобная специфика функционирования литературы в русской культуре, её двойственная роль и способность вступать в диалог с общественной жизнью и вербально проникать в те области культуры, которые находятся за пределами собственно литературы, наводит на мысль, что художественная литература, сколь бы далекой она ни была от судебной системы, не могла не повлиять в условиях литературоцентризма на судебный дискурс и на судебное красноречие. Тем более что ключевые фигуры русской адвокатуры конца XIX – начала XX вв., которые заложили основы судебного красноречия, сами были вовлечены в литературную и критическую деятельность.

Так, А.Ф. Кони с самого детства находился в литературном окружении: его отец Ф.А. Кони был драматургом, переводчиком и театральным критиком, а мать И.С. Кони – писательницей, активно сотрудничавшей с «Литературной газетой» А.А. Краевского и журналом «Репертуар и Пантеон» (Русский биографический словарь, 1903, с. 103–104). В студенческие годы А.Ф. Кони

---

<sup>16</sup> Во всех цитатах данного абзаца курсив издания.

активно посещал литературные вечера, на которых выступали, в частности, Ф.М. Достоевский, А.Н. Майков и А.Ф. Писемский; посещал кружок русской словесности (Смолярчук, 1984, с. 154–156). Позднее, после 1866 г., он начал публиковать собственные статьи и очерки на тему литературы и права в «Вестнике Европы» и «Историческом Вестнике», активно сотрудничать с газетой М.М. Стасюлевича «Порядок», делать доклады в русском литературном обществе (Брокгауз, 1915, с. 951). А.Ф. Кони также стал автором ряда биографических очерков и воспоминаний о русских писателях (например: Кони, 1989).

По словам современников, А.Ф. Кони большое внимание уделял языку и, будучи в начале 1920-х гг. преподавателем Института живого слова, «строго распекал» своих студентов, «если в их речах попадались дешевые, ходовые, трескучие фразы» (Чуковский, 2012, с. 140)<sup>17</sup>.

Современные исследователи отмечают, что в судебных речах А.Ф. Кони ярко проявлялись черты, которые он очень ценил у Ф.М. Достоевского, а именно глубокий психологизм и интерес к содержанию преступлений (Марков, 2006, с. 27).

В этой связи чрезвычайно любопытен один из очерков А.Ф. Кони, в основу которого легла речь, произнесенная им в собрании Юридического общества при Санкт-Петербургском университете 2 февраля 1881 г. В этой речи, целиком посвящённой Ф.М. Достоевскому, адвокат объясняет, почему речь о писателе уместна в юридическом сообществе: «Слово о великом художнике, который умел властно и глубоко затрагивать затаённые и нередко подолгу молчаливые струны сердца, не может быть неуместным в среде деятелей, посвятивших себя изучению норм, отражающих на себе душевную потребность людей в справедливости и искание наилучшего её осуществления» (Кони, 1968, с. 406). Мы склонны полагать, что в этих словах

---

<sup>17</sup> Как писал в той же работе К.И. Чуковский, чтобы обучить студентов судебному красноречию, А.Ф. Кони прибегал к весьма необычному методу: вместе со студентами он инсценировал судебные процессы прошлых лет, а затем подробно разбирал произнесенные речи (Чуковский, 2012).

А.Ф. Кони отразилась существенная черта его времени: для юристов конца XIX – начала XX вв. литература была не просто источником эстетического удовольствия и точкой приложения интеллектуальных и творческих сил – знание и понимание литературы было практической необходимостью, поскольку именно она, с одной стороны, давала возможность глубже проникнуть в человеческую психологию, а с другой – служила источником разнообразных находок, которые использовались в дальнейшем для судебных речей.

Юридическую деятельность с деятельностью литературной совмещал В.Д. Спасович, которого современники прозвали «королем русской адвокатуры». Ему принадлежит ряд литературоведческих работ, посвящённых творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Байрона, А. Мицкевича. По словам Д.С. Мережковского, они написаны «превосходным языком», который соответствует «художественной», а не «ремесленной форме критики» и не лишен поэтического вдохновения (Мережковский, 1893, с. 97). В.Д. Спасович также посвятил отдельные работы истории польской литературы – эти тексты публиковались, в частности, в «Вестнике Европы» (Чистякова, 2010). Значительной стала совместная работа В.Д. Спасовича с А.Н. Пыпиным над двухтомной «Историей славянских литератур» (Пыпин, 1879). Примечательно, что судебным речам В.Д. Спасовича также был присущ глубокий психологизм – это отмечал, в частности, А.Ф. Кони (Кони, 1914, с. 229).

Литературой и публицистической деятельностью занимался Н.П. Карабчевский, который на протяжении всей жизни интересовался искусством и даже создал собственный театр (Ковалева, 2010). Кроме статей и очерков на юридическую тему, он опубликовал сборник стихотворений в прозе, а также целый ряд беллетристических произведений, среди которых выделяли роман «Господин Арсков» (Смолярчук, 1984, с. 131).

Успешно сочетал юридическую деятельность с литературной и театральной критикой князь А.И. Урусов, который не только стал «любимой

знаменитостью русской адвокатуры», как писал о нем А.И. Герцен (Герцен, 1960, с. 233), но и получил известность за рубежом благодаря выигранному в Париже делу писателя Леона Блуа, обвинявшегося в диффамации.

А.И. Урусов имел тесные личные и творческие связи с И.С. Тургеневым, А.Н. Плещеевым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, Н.А. Некрасовым, И.С. Аксаковым, П.Д. Боборыкиным, А.П. Чеховым и К.Д. Бальмонтом; печатался в русских и французских литературно-критических журналах; был популяризатором творчества Г. Флобера – князь собрал внушительную коллекцию материалов, которые в 1900 г. были переданы по завещанию в парижский Музей Карнавале (Венгерова, 1938; Dranenko, 2018). Кроме того, А.И. Урусов был авторитетным театроведом: он возглавлял театральный отдел в петербургской газете «Порядок» и вел «Летопись Малого театра» в «Московских ведомостях». Литература занимала не меньшее место в жизни А.И. Урусова, чем адвокатура. То, насколько значительную роль играла литература в жизни князя, хорошо иллюстрируют слова о нем филолога А.И. Кирпичникова, который писал, что А.И. Урусов « всю жизнь свою сидел на двух стульях: литературе и адвокатуре » (Кирпичников, 1907, с. 126).

В упомянутой нами ранее работе Д.С. Мережковского (1893) весьма объемный фрагмент посвящён литературной и литературно-критической деятельности С.А. Андреевского – известного адвоката, чей ораторский талант высоко ценили современники: сборник его защитительных речей, вышедший в 1891 г. (Андреевский, 1891), впоследствии не раз переиздавался. С.А. Андреевский занимался поэзией, переводил стихи Эдгара По, Сюлли-Прюдома, Гаммерлинга и Бодлера (Андреевский, 1886); его перу принадлежит ряд очерков, посвящённых вопросам поэтики, а также творчеству отдельных авторов, в частности М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и Ф.М. Достоевского (Андреевский, 1902).

Увлечение литературой С.А. Андреевский переносил и в свою адвокатскую деятельность. В работе «Об уголовной защите» адвокат писал, что все участники процесса и широкая аудитория в России воспринимали

драму преступления и мораль процесса в духе русской литературы, а потому он решил говорить с присяжными так, как говорили писатели: «Я нашел, что простые, глубокие, искренние и правдивые приемы нашей литературы в оценке жизни следует перенести в суд. <...> Нельзя было пренебрегать столь могущественным средством, воспитавшим многие поколения наших судей в их домашней обстановке» (Андреевский, 2000, с. 287–288). Среди своих предшественников, которые вдохновили его на литературный подход к риторической практике, С.А. Андреевский называл А.Ф. Кони и А.И. Урусова.

Работа «Об уголовной защите» практически целиком посвящена русской литературе как источнику приёмов для судебных ораторов. С.А. Андреевский делится своим личным опытом и наблюдениями; восстает против актерства; говорит о произведениях У. Шекспира, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова как источниках глубоких психологических наблюдений; о необходимости изучения поэзии, поскольку именно она является воплощением точности и благозвучности языка, столь необходимых оратору (Андреевский, 2000, с. 285, 289, 303). Представляя защитника как «говорящего писателя» и художника, С.А. Андреевский высказывает весьма необычную мысль, что, чем менее защитник юрист по натуре, тем лучше, ведь для адвокатской деятельности требуется чуткость, правдивость, талант психолога и бытописателя, которым обладают далеко не все; изучение же устава (т. е. чисто юридическая сторона вопроса) под силу каждому и требует лишь пары лет (Андреевский, 2000, с. 290–291).

Отдельные положения текста могут показаться спорными – ещё А.Ф. Кони в одном из очерков писал, что С.А. Андреевский очень увлекается своей писательской задачей (Кони, 1968, с. 177), – однако для нас в контексте диссертации важна иная вещь: работа «Об уголовной защите» С.А. Андреевского является одним из ярких свидетельств того, что во второй половине XIX – начале XX вв. связь пореформенного судебного красноречия

и русской литературы подвергалась глубокой рефлексии, она была очевидной и естественной<sup>18</sup>.

Нам могут возразить, что приведённые примеры не дают достаточных оснований полагать, что литература послужила главным источником развития судебного красноречия: в конце концов, упомянутые адвокаты, столь вовлечённые в литературную и литературно-критическую деятельность и достигшие успехов на этом поприще, немногочисленны и вполне могут быть исключениями из общего правила. Нам также могут вспомнить, скажем, Ф.Н. Плевако, выдающегося защитника, который не оставил никакого литературного наследия, только сборники собственных речей.

Действительно, мы привели лишь некоторых адвокатов, однако все они были яркими и известными защитниками своего времени. Они получили признание юридического сообщества; их речи печатались, издавались в сборниках; их деятельность привлекала внимание не только коллег, но и широкой общественности. Им хотелось подражать – подробное изучение литературы, упоминаемой в данном параграфе, показывает, что речи В.Д. Спасовича, А.Ф. Кони, П.А. Александрова, А.И. Урусова и других выдающихся судебных ораторов служили источником вдохновения для новых поколений адвокатов и прокуроров. Тем самым перенимались приёмы и риторические топосы, ещё крепче укоренялся литературный путь, который был найден первыми присяжными поверенными и обвинителями.

Что же касается Ф.Н. Плевако, то здесь мы можем лишь обратить внимание на одну деталь: несмотря на то, что он не занимался литературой и литературной критикой, его речи отнюдь не были лишены поэтичности. Писатель и публицист Б.Б. Глинский отмечал, что Ф.Н. Плевако «с высоты эпического спокойствия и простоты свободно переходил на высоты самого

---

<sup>18</sup> В современном российском юридическом сообществе, напротив, эта связь если не ускользает вовсе, то кажется размытой, неочевидной и даже противоестественной. Нам на собственном опыте приходилось сталкиваться с искренним недоумением и удивлением, с которым государственные обвинители и адвокаты воспринимали саму возможность взаимодействия судебной риторики и литературы.

яркого пафоса и лирической поэзии» (Глинский, 1897, с. 54). Как мы писали в самом начале параграфа, культура и интеллектуальная жизнь России во второй половине XIX – начале XX вв. были в высшей степени литературоцентричны, и, чтобы испытать на себе влияние литературы и пользоваться её находками, необязательно было быть непосредственно вовлеченным в литературный процесс.

## **2.5. Критическое изображение судебных речей и судебного дискурса в русской литературе конца XIX – начала XX вв.**

Как мы выяснили ранее, художественная литература сыграла значительную роль в формировании судебного дискурса и судебной риторики рубежа XIX–XX вв. Судебные ораторы активно интересовались литературой, обращались к ней как к источнику тонких психологических наблюдений и разнообразных находок; многие из них были вовлечены в литературно-критическую деятельность. Однако сами адвокаты зачастую изображались в литературе критически, а многие ключевые писатели того периода достаточно негативно относились к самому институту суда присяжных и адвокатуре в целом.

Среди тех, кто критически относился к новой системе, был Ф.М. Достоевский. Будучи лично знаком со многими известными адвокатами, он пристально следил за работой нового института и даже бывал доволен приговорами (Достоевская, 2015, с. 168). Однако его отношение к суду присяжных было негативным. Оправдательные вердикты адвокатов, которые слишком активно развивали идею о влиянии среды на человека, по мнению Достоевского, вселяли «безверие в правду народную, в правду Божию» и лишали преступника возможности искупить преступление (Достоевский, 1980, с. 19). Идею же о том, что преступления являются следствием неблагоприятных обстоятельств и деструктивного влияния среды на человека,

писатель считал унижительной для личности и противоречащей христианской вере, которая «ставит нравственным долгом человеку борьбу со средой» (Достоевский, 1980, с. 16).

Идея о том, что внутренний суд важнее «суда механического», прослеживается в романе «Подросток», где Макар Долгорукий рассказывает о солдате, который, будучи оправдан судом присяжных, вешается от осознания собственной вины (Достоевский, 1975, с. 310); о примате внутреннего суда собственной совести в «Братьях Карамазовых» (Достоевский, 1976, с. 59) говорит старец Зосима, которого Елиазар Мелетинский охарактеризовал как «центр справедливого суда» (Мелетинский, 2001, с. 174).

Негативным было отношение Достоевского не только к новому суду, но и к судебному красноречию, которое нередко ассоциируется в его романах с бессмысленными разговорами и носит на себе отпечаток театральности: суд превращается в место, где можно «завести историю» и «поговорить» (Достоевский, 1974, с. 250, 512), а не выяснить истину (Khazagerov, 2021, с. 663). Что касается самих адвокатов, то их Достоевский в своих текстах нередко называл «нанятой совестью» (например: Достоевский, 1975) – и нередко со злой иронией характеризовал их работу: показательным в этом плане является фрагмент из очерка «Среда»: «...ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжёт против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого!» (Достоевский, 1980, с. 23). Однако наиболее жестокую критику адвокатуры и судебного красноречия можно обнаружить в романе «Братья Карамазовы», в котором адвокат Фетюкович – прототипами которого, как полагают исследователи, послужили В.Д. Спасович и П.А. Александров (Гроссман, 2015, с. 39) – произносит речь в защиту Дмитрия Карамазова.

Достоевский в серии очерков (например: Достоевский, 1981) подвергал В.Д. Спасовича суровой критике за защиту Кронеберга, который обвинялся

в избии ребенка и усилиями адвоката был оправдан. Что же касается П.А. Александрова, то он произносил речь в защиту Веры Засулич в 1878 г. Достоевский лично присутствовал на слушаниях по этому делу (Волгин, 2010, с. 53) и, как отмечал Л.П. Гроссман, многие детали этих слушаний были использованы Достоевским при описании суда над Дмитрием Карамазовым, а отдельные приёмы адвоката даже были целиком перенесены в речь Фетюковича (Гроссман, 2015, с. 37–39), которую можно считать пародией на судебное красноречие того времени. Фетюкович обращается к анализу психологии подсудимого, нагромождает риторические приёмы (в частности, гипофоры и сермоцикации) и ораторские тактики, доводя их почти до абсурда. Примечательно, что адвокат Карамазова пытается занять позицию бескорыстного защитника, апеллировать к христианской этике и морали, подобное поведение «нанятой совести» представляется смешным (Khazagerov, 2021, с. 663).

Не менее сложным было отношение к суду присяжных Л.Н. Толстого, который видел в новой системе нарушение христианской истины «не суди», а также «противление злу» (Толстой, 1957).

Известно, что в 1866 г. Л.Н. Толстой выступал в суде с речью в защиту рядового Шибунина: речь не имела успеха, и солдат был приговорён к расстрелу. В конце жизни писатель в переписке с П.И. Бирюковым выражал сожаление, что «ссылался на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законом» (Бирюков, 1921, с. 111).

Весьма интересные сведения в этой связи приводит А.Б. Гольденвейзер. Вспоминая дело обвинявшегося в убийстве тульского священника В.И. Тимофеева, который сначала был оправдан, а затем после кассации приговорен к двадцати годам каторги, Л.Н. Толстой задавался вопросом, как возможны подобные колебания, чего стоят такие решения и не является ли суд простой «игрой в орлянку», если его решения зависят от многочисленных случайностей и настроения присяжных (Гольденвейзер, 1959, с. 64). Роль присяжных вообще казалась Л.Н. Толстому странной, ведь присяжным нечего

прощать, потому что простить могут только потерпевшие (Гольденвейзер, 1959, с. 64–65). В высказываниях, приводимых А.Б. Гольденвейзером, явственно чувствуется неверие в новую систему, которая не могла обеспечить справедливое правосудие: одного человека могли осудить за кражу мелочи, а другого – оправдать за кражу крупной суммы исключительно потому, что у его были деньги на дорогих адвокатов, как это произошло по делу С.И. Мамонтова<sup>19</sup> (Гольденвейзер, 1959, с. 64).

Интересную мысль, которая удивительным образом перекликается с идеей внутреннего суда Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстой озвучил в беседе с председателем Московского окружного суда Н.В. Давыдовым: он говорил, что можно было бы отменить всякое наказание и лишь сообщать виновному о доказательствах его вины; такая мера приводила бы к положительным результатам чаще, чем традиционная система наказаний (Гольденвейзер, 1959, с. 64).

Критически новый суд Л.Н. Толстой описывал и в своих произведениях. Очень показателен в этом плане роман «Воскресенье», где тема суда оказывается центральной. Слушания по делу Катюши Масловой описываются как некая утомительная формальность, с которой хочется поскорее покончить: чиновники заняты своими мыслями, присяжные тяготятся своей ролью, хотя они и испытывают некоторое удовольствие от осознания своей важной общественной миссии (Толстой, 1900, с. 30). В том, как Толстой выстраивает повествование, можно усмотреть любимый им приём «остранение» (Шкловский, 1929), который он нередко использовал для критики разных институтов (Khazagerov, 2021, с. 661).

В необычном свете предстает судебный процесс в пьесе «Живой труп»: отдельные детали создают ощущение своего рода театральности слушаний. Частые аплодисменты, которыми прерывается речь адвоката Петрушина, который поворачивает речь так, что не общество судит Каренина и Лизавету

---

<sup>19</sup> С.И. Мамонтов был в 1900 г. привлечён к суду по обвинению в крупных растратах. Усилиями адвокатов, в числе которых оказались Ф.Н. Плевако и Н.П. Карбчевский, он был оправдан (Гольденвейзер, 1959, с. 404).

Андреевну, а они общество (Толстой, 1963, с. 385); комментарии «зрителей» вроде «прекрасно», «до слёз довёл», «лучше всякого романа», «только непонятно, как она могла так любить его» (Толстой, 1963, с. 386–387) создают впечатление, что события происходят не в суде, а в театре, где зрители обсуждают игру актеров и только что увиденную пьесу.

Весьма негативно изображена адвокатура в романе «Анна Каренина». Адвокат, к которому обращается Алексей Александрович Каренин по вопросу развода и который, что примечательно, не называется по имени, показан как человек, который заботится исключительно о личной выгоде и при необходимости не постесняется в средствах для достижения целей. По мере того, как Каренин излагает суть своего дела, адвокат становится всё веселее, причём настолько, что ему приходится сдерживать себя, чтобы не оскорбить клиента (Толстой, 1970, с. 312). От перспектив, которые открывало ему дело, адвокат стал настолько весел, что после ухода Каренина, как пишет Л.Н. Толстой, «противно своим правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина» (Толстой, 1970, с. 314).

Деталь, связанная с молью, в данном случае особенно примечательна, причём сразу по двум причинам. На протяжении небольшого фрагмента четыре раза упоминается, что адвокат в присутствии Каренина ловит моль. Два раза он сдерживает себя или делает это тайно, «из уважения к положению Алексея Александровича» (Толстой, 1970, с. 312). Эта деталь, равно как и то, что адвокат то и дело перебивает Каренина, чтобы отдать распоряжения своему помощнику, постоянно заглядывающему в кабинет, порождают ощущение неловкости за происходящее и создают впечатление, что адвокат настолько явственно чувствует исключительность и значимость своего положения, что позволяет себе неуважительное отношение не только к простым посетителям, но и к высокопоставленному государственному чиновнику (фраза «из уважения к положению Алексея Александровича» не

может ввести в заблуждение: у адвоката с самого начала была карточка Каренина, так что он прекрасно знал, *кто* к нему обратился). Кроме того, размышления адвоката в ходе беседы о том, что мошь может испортить репс в его кабинете, перекликаются с тем, как Толстой описывал в романе «Воскресенье» мысли судебных чиновников во время слушаний по делу Масловой: и в том, и в другом случае Толстым создаётся впечатление, что вопрос разбирается как бы «между делом», что это формальность, которая вытесняется в уме чиновников и адвоката вполне простыми, мелко-житейскими вопросами.

Судебная система и сословие присяжных поверенных нередко попадали в фокус внимания М.Е. Салтыкова-Щедрина, который не отрицал новую систему (Khazagerov, 2021, с. 662), но лишь с пронизательностью человека, который видел её не только снаружи, но и изнутри, отмечал недостатки. В его текстах показано, как первоначальное воодушевление адвокатов, которые были привлечены «красивой стороной дела», то есть «гласностью и устностью, которые дают большой простор таланта» (Салтыков-Щедрин, 1970, с. 15), сменилось разочарованием от осознания, что «что живое дело никогда не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним существом, которое в нём заключается» (Салтыков-Щедрин, 1970, с. 15). Адвокаты не всегда до конца понимали свою роль в обществе и постепенно пришли к такому состоянию, когда «дальше рубля взор ничего не видит» (Салтыков-Щедрин, 1988, с. 262; Егоров, 2012, с. 287).

Весьма показателен в этом смысле рассказ «Адвокат» из цикла «Мелочи жизни», в котором изображается жизненный путь присяжного поверенного Перебоева и, в каком-то смысле, всей русской адвокатуры. В этом тексте М.Е. Салтыков-Щедрин упоминает характерные для адвокатуры того времени приёмы и детали: акцент на том, что преступление является следствием неблагоприятного воздействия среды на человека; цитирование литературных текстов и работ гуманистов («<...> цитата из Шекспира, цитата из Беккарии –

с меня довольно», – рассуждает Перебоев (Салтыков-Щедрин, 1988, с. 318)); отрыв от «реальной почвы» под влиянием «общечеловеческой Правды» (Салтыков-Щедрин, 1988). Всё это соединяется в эпизодических вкраплениях судебного дискурса, который пародируется писателем. Превращение адвокатов в «аблакатов», ремесленность в самом худшем смысле слова, стремление к накоплению «грошей» и непонимание того, что «необходимо себя самого привести к знаменателю просвещения» (Салтыков-Щедрин, 1988, с. 84); проявившееся в условиях реакции ренегатство и стремление к самосохранению, описанное в «Современной идиллии»<sup>20</sup> (Салтыков-Щедрин, 1988; Бушмин, 1982, с. 674), также становятся предметом критики.

Большой интерес к пореформенному суду проявлял А.П. Чехов. Как вспоминал юрист Н.Г. Серповский, Чехов очень интересовался работой судов и хорошо знал судебную процедуру (Чехов, 1985, с. 656). Будучи журналистом, писатель бывал на слушаниях: до нас дошли весьма любопытные наблюдения, лаконичные и меткие, об атмосфере процессов, реакции публики, выступлениях защитников и адвокатов. Хорошо известна данная А.П. Чеховым характеристика выступления Ф.Н. Плевако по делу Рыкова: «Речь его ровна, мягка, искренна... Образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество, но... слишком уж поверхностно и витиевато! <...> ... мало того, что изрёк г. златоуст, до того мало, что в голове после его речи не остается ничего, кроме отдельных выражений и афоризмов» (Чехов, 1987, с. 209–210).

Кроме того, А.П. Чехов сам участвовал в делах в качестве присяжного. Об этом он писал в письме А.С. Суворину от 27 ноября 1894 г. Описание своего участия в заседаниях Чехов подытожил так: «Вот моё заключение: 1) присяжные заседатели – это не улица, а люди, вполне созревшие для того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые

---

<sup>20</sup> Примечательно, что «Современная идиллия», а в особенности ее финал, в котором появляется Стыд, оказывается полемична с философией наказания Л.Н. Толстого (Бушмин, 1982, с. 675–676), который, как мы писали ранее, говорил о большей эффективности чувства вины, чем реального наказания.

люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они или мужики, образованные или необразованные. В общем впечатление приятное» (Чехов, 1977, с. 339).

Судебный дискурс и судебное красноречие часто фигурируют в текстах А.П. Чехова: в его рассказах можно встретить и глубокую иронию по отношению к нежеланию адвокатов обращаться к фактической стороне дела и к их стремлению слишком сильно полагаться на психологию и приёмы, нацеленные на эмоции слушателей; и трагическое по своей сути равнодушие к реальному положению вещей, механическую эксплуатацию шаблонов.

Речь защитника становится центральным элементом рассказа «Случай из судебной практики», в котором Чехов с глубокой иронией описывает защитительную речь «знаменитейшего и популярнейшего адвоката» (автор не приводит имён ни защитника, ни обвинителя, как бы показывая, что ситуация типична) (Чехов, 1983, с. 86). Юрист играет на нервах публики, «как на балалайке», игнорирует факты и существо дела, «напирая больше на психологию» (Чехов, 1983, с. 86). Чехов доводит ситуацию до гротеска: речь адвоката вызывает отклик у всех без исключения слушателей, в том числе и у подсудимого, который прямо во время защитительной речи сознаётся в совершении преступления.

Несколько в ином свете показана судебная риторика в рассказе «В суде» (Чехов, 1985). Молодой адвокат тяготится своей ролью, ему скучно, предстоящая речь его совершенно не волнует: он говорит «по давно заведённому шаблону», хотя прекрасно осознаёт, насколько его речь «бесцветна и скучна» (Чехов, 1985, с. 345).

Ещё один интересный с этой точки зрения рассказ – «Сильные ощущения» (Чехов, 1985). Адвокат сначала убеждает друга в нецелесообразности брака и побуждает его написать невесте отказ, а потом убеждает его ровно в обратном. Примечательно, что в тексте не приведено никаких аргументов – читатель лишь знает, что адвокат говорит общими местами: «Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был

не в том, что он говорил, а в анафемской форме» (Чехов, 1985, с. 111). Даже не имея хорошего, убедительного содержания, речь способна оказывать сильное эмоциональное воздействие.

Заметки и художественные тексты А.П. Чехова показывают, что он не принимал в судебной риторике пафос в ущерб смысла (Степанов, 2005, с. 165), чрезмерную эмоциональность, витийство, театральность и шаблонность. Исследователи полагают, что эталоном для писателя были такие речи и тексты, которые были объективны, правдивы, оригинальны и кратки, в которых нет шаблонов и длинных рассуждений о политических, социальных и экономических вопросах (Чехов, 1974, с. 241–242; Пырков, 2017, с. 14).

Мы привели лишь отдельных авторов второй половины XIX – начала XX вв., которые критически изображали судебное красноречие и судебный дискурс. Обширное наследие русской литературы рубежа веков и рамки диссертации не позволяют нам провести более подробный анализ, однако даже упомянутые нами произведения ключевых авторов того времени позволяют представить, насколько неоднозначным было отношение писателей к судебной риторике и судебному дискурсу.

## **Выводы**

В результате Судебной реформы 1864 г. старое судопроизводство, которое было письменным, тайным и основывалось на формальном подходе к рассмотрению доказательств, претерпело кардинальные изменения: оно стало открытым и гласным; был введен суд присяжных и создано сословие присяжных поверенных (адвокатов), обеспечивавших состязательность прений.

Преобразование целого института повлекло за собой изменения в судебном дискурсе. Поскольку на тот момент в России отсутствовала крепкая традиция полемической риторики, а перенесение зарубежного опыта

на русскую почву было зачастую невозможно, первые адвокаты и обвинители обратились к русской литературе как источнику ценных психологических наблюдений и приёмов. Она была основой, позволявшей говорить с аудиторией на одном языке. Этому способствовал также тот факт, что в условиях предельной литературоцентричности русской культуры рубежа XIX–XX вв. многие ключевые фигуры судебной риторики того периода, в частности А.Ф. Кони, В.Д. Спасович, Н.П. Карабчевский, А.И. Урусов и др., были активно вовлечены в литературную и литературно-критическую деятельность.

Несмотря на то, что художественная литература может быть отнесена к эпидейктической риторике, диалогизм и интердискурсивность позволяют ей оказывать влияние на полемические жанры, судебное красноречие и судебный дискурс в целом. Кроме того, благодаря способности вбирать в себя разнообразные элементы, соединять стили, переосмысливать речевые жанры, благодаря стремлению охватить самые разные аспекты жизни и достичь эстетической действенности своего языка, художественная литература является также одним из главных факторов развития литературного языка.

Если первые судебные ораторы положительно относились к художественной литературе и признавали её ценность для судебного красноречия, то русские писатели, в числе которых были Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин и А.П. Чехов, в своих произведениях изображали адвокатов и пореформенный суд в критическом свете. Ими нередко пародировались риторические приёмы защитников и обвинителей; их увлеченность психологией и идеей о преступлении как следствии деструктивного влияния среды; чрезмерный пафос речей и апелляция к эмоциям слушателей в ущерб анализу объективной стороны дела. Однако, если одни писатели воспринимали новую систему как нечто противное христианству и противоречащее заповеди «не суди», то другие не отрицали институт, а лишь указывали на недостатки, которые не позволяли ему справедливо и объективно выполнять свою функцию.

## ГЛАВА 3. ТОПИКА СУДЕБНЫХ РЕЧЕЙ РУБЕЖА XIX – XX ВВ. И РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

### 3.1. Система риторических топосов

Топосы, или общие места, – одна из самых сложных категорий риторики<sup>21</sup>. Существует множество точек зрения и интерпретаций этого понятия, поэтому в данном параграфе мы попробуем обрисовать основные подходы к его пониманию.

Согласно риторическому канону, общие места относятся к так называемой инвенции, т.е. первой из пяти частей риторики, которая связана с нахождением и разработкой аргументов (Хазагеров, 2009, с. 62). Эта часть всегда находилась в центре внимания риторической теории и практики, поскольку именно она связана с содержанием речи (Lauer, 2004, с. 1).

Согласно Цицерону, теория топосов восходит к Протагору Абдерскому, который составил «рассуждения на самые знаменитые темы» (Цицерон, 1972), и к Горгию, который полагал, что хороший оратор должен уметь одинаково искусно восхвалять и порицать любые вещи (Цицерон, 1972). Общие места входили в сборники риторических упражнений (прогимназмы) и были объектом пристального дидактического внимания, что видно, в частности, по работам Гермогена Тарсийского, Афтония Антиохийского и по «Риторике для Геренния» (The Oxford Classical Dictionary, 1999).

Значительный вклад в разработку античной топики сделал Аристотель. В трактате «Риторика» он определял общие места как универсальную основу для построения силлогизмов и энтимем, которая позволяет рассуждать о самых разных предметах (Аристотель, 2015, с. 75). Однако это далеко не единственное определение топоса, которое можно встретить в работах Аристотеля. Как писал В.П. Москвин, в трактатах философа можно выделить

---

<sup>21</sup> В данной работе понятия «топос» и «общее место» используются нами как синонимы.

ещё как минимум три определения: понимание топоса как довода, аргумента, как параметра для анализа и как закона, аксиомы, в которой содержится представление об общепринятом (Москвин, 2008; Москвин, 2010, с. 33–34).

Философы разделили все топосы на общие и частные (Rapp, 2010) (первые пригодны для любых ситуаций, в то время как вторые ограничены судебным, совещательным или эпидейктическим жанром риторики (Žagar, 2010, с. 13)) и предложил сразу несколько их классификаций. Особенно интересен с этой точки зрения трактат «Топика», где было приведено три сотни общих мест: они были классифицированы таким образом, чтобы облегчить студентам изучение топосов; вместо разбора примеров Аристотель хотел предложить систему, которая могла бы обучить методу аргументации, т.е., как писал философ в «Софистическом опровержении», не просто показать результат искусства, а научить самому искусству (Rubinelli, 2014).

Впоследствии аристотелевский трактат «Топика» обратил на себя внимание Марка Туллия Цицерона, который изложил в более доступной форме его содержание и пересмотрел предложенный философом список общих мест, сократив их число до двенадцати. Цицерон определял топосы как своего рода хранилища доказательств, места, где можно отыскать необходимые доказательства (Цицерон, 1994, с. 58).

Несмотря на многочисленные совпадения с точкой зрения Аристотеля, концепция Цицерона имеет весьма интересное отличие: список общих мест оратора представляет собой не набор правил, а перечень идей, которые способны вызвать у слушателей определённые ассоциации (Žagar, 2010, с. 19). Таким образом, Цицерон определял топосы не как элементы, руководящие построением аргументов, а как некий готовый аргумент, применимый в разных контекстах, главной функцией которого является настроить слушателей на подходящий мыслительный лад (Rubinelli, 2009, с. 148).

В Средние века и эпоху Ренессанса трактаты Цицерона были самыми доступными, а потому наиболее часто используемыми работами по риторике: как писал историк риторики Джеймс Мерфи, поэты, энциклопедисты,

проповедники и даже авторы руководств по написанию писем при любой возможности упоминали Цицерона и старались усилить свои тексты при помощи его наработок (Murphy, 1967, с. 334–335).

Однако отсутствие точных определений и трактовок, множественность античных классификаций и развитие христианства привели к тому, что в Средние века, когда была доступна лишь малая часть римского и греческого риторического наследия, понимание топосов – как и всей инвенции в целом – существенно трансформировалось. Попытки Августина примирить риторику с её категорией вероятности и религию с её Божественной правдой привели к герменевтическому повороту: риторическая инвенция стала использоваться для интерпретации Священного Писания, служить инструментом для понимания мудрости религиозных текстов (Lauer, 2004, с. 30).

В этот же период предпринимались попытки сохранить дошедшее античное наследие, что далеко не всегда способствовало ясному пониманию риторических идей. Энциклопедисты, такие как Боэций, Исидор Севильский и Кассиодор, зачастую очень кратко приводили содержание античных трактатов и отводили сложным понятиям лишь лаконичные дефиниции и небольшие описания (Lauer, 2004, с. 31–32).

Чуть позже Джеффри Винсофский связал риторические топосы со стилистикой – инвенция содержания постепенно превратилась в инвенцию стиля (Duck, 1988, с. 43). Примечательно, что средневекового грамматиста занимал исключительно вопрос создания письменных текстов, что кардинальным образом отличалось от подхода античных авторов, для которых инвенция была связана прежде всего с практикой устных выступлений (Duck, 1988, с. 43).

В результате в Средние века сложилось понимание топоса как некой готовой формулы, как лексического, тематического и даже жанрового клише, которое помогало при создании самых разных текстов от личных писем до поэтических произведений (Lauer, 2004). Свойственное средневековью тяготение к созданию списков, каталогов и энциклопедий напрямую

отразилось на топики: ораторам рекомендовалось создавать собственные перечни общих мест и включать туда, кроме всего прочего, выдержки из трактатов и цитаты, которые могли оказаться полезными при создании текста или подготовке к выступлению (Žagar, 2010, с. 14; Ong, 1967, с. 64). В эпоху Возрождения эти каталоги трансформировались в весьма сложные схемы нахождения аргументов и выявления связи понятий: одним из любопытных примеров такого подхода может послужить книга Орацио Тосканеллы «Гармония всех знаменитых риторов и авторов древних и наших времен» (Toscanella, 1569).

Авторы эпохи Ренессанса преимущественно продолжали наметившуюся ранее стилистическую линию; всё больший интерес у них вызывали тропы и фигуры (Dyck, 1988, с. 45–54). Вероятно, отчасти это можно объяснить тем, что значительное влияние вплоть до XVIII в. имели работы Петра Рамуса, который относил инвенцию к логике, тем самым оставляя в ведении риторики исключительно вопросы элокуции и акции (подобное положение сохранялось и в XVIII–XIX вв.; именно в этот период само понятие «риторика» (rhetoric) стало в англоязычной традиции уступать место «композиции» (composition) – тем самым на первый план выводились вопросы лингвистики и критики) (Lauer, 2004, с. 38, 44–45).

В России авторы ранних риторических трактатов также обращались в античному наследию (преимущественно работам Аристотеля), однако категория топоса ими была переосмыслена (Начерная, 2010, с. 316).

С.В. Начерная полагает, что для русской риторики большую роль сыграл трактат Иннокентия Поповского «Раковина» (1698 г.), в котором автор рассматривал изобретение как «вымышление причин, подтверждающих предложение»; топики же учили «“приискивать” и открывать риторическим искусством причины, положенные и заключённые в самом предмете» (Начерная, 2010, с. 316). Поповский выделил шестнадцать топосов; авторы более поздних риторик, такие как Сафроний Лихуд, Михаил Усачев, Стефан Яворский и Козма Афоноверский, приводили от одиннадцати до

двадцати одного вида топосов, которые преимущественно были связаны с родо-видовыми отношениями, соотношениями части и целого, признаками, причинами и обстоятельствами, местом, временем, а также свойствами предмета (Начерная, 2010, с. 316–317). Несколько иным был список топосов Андрея Белобочко, который в число топосов включал учение, историю или повесть, сентенции, уставы и правила (Начерная, 2010, с. 317).

Значительной в области риторики была деятельность М.В. Ломоносова, автора «Краткого руководства к красноречию», в котором топосы рассматривались как средство изобретения идей и доводов. Учёный приводил шестнадцать общих мест и подробно разъяснял принципы их функционирования (Ломоносов, 1759, с. 6–7). Впоследствии интерпретация Ломоносова нашла отражение в риториках Н.Ф. Кошанского, А.И. Галича, И.И. Давыдова и К.П. Зеленского (Кошанский, 2013; Аннушкин, 2003, с. 247–249). Как мы уже сказали ранее, европейский XIX в. в целом ознаменовался упадком интереса к риторике.

Момент возрождения наступил лишь в середине XX в., когда бельгийский философ и логик Хаим Перельман, в дальнейшем возглавивший Брюссельскую школу «неориторики», заинтересовался вопросами риторической аргументации (Грицанов, 2001).

В работе «Трактат об аргументации», написанной в 1958 г. совместно с Люси Олбрехт-Тытекой, посылки аргументации были разделены на реальные (*réel*) и предпочтительные (*préférable*): к первым относились факты, истины и предположения, а ко вторым – ценности, иерархии и топосы, которые представляют собой наиболее общие посылки, одобряемые большей частью аудитории и позволяющие оратору укрепить предложенные ценности и иерархии (Perelman, 2008, с. 88; Perelman, 2012, с. 116). Авторы трактата отмечают, что восприятие топосов как банальных утверждений в корне ошибочно, поскольку они формируют своего рода арсенал, к которому оратор вынужден обращаться в том случае, когда требуется в чём-либо убедить аудиторию или собеседника (Perelman, 2008, с. 112–113).

Понятие топоса стало активно использоваться в прагма-диалектическом подходе аргументативной риторики, которая с конца XX в. активно развивается в Нидерландах. Представители Амстердамской школы понимают топос как один из видов аргументативных схем (*argumentation schemes*), своего рода сигнал, который позволяет собеседнику или аудитории узнать цель аргумента и служит его квинтэссенцией (например, в случае, когда оратор использует пословицу) (Krzyżanowski, 2010, с. 84).

В то же время многие современные исследователи обращаются к античному наследию, чтобы систематизировать и переосмыслить его. Это позволяет по-новому взглянуть на понятия и подходы к их классификации. Так, например, М. Лефф отмечал, что стремление создать стройную теорию привело к тому, что инвенция превратилась в схоластическую дисциплину, оторванную от реальности (Leff, 2006, с. 203). Античные авторы при создании классификаций и формулировании определений ориентировались в первую очередь на реальную практику: это были не руководства в привычном нам смысле, а описание инструментов и тактик, с помощью которых риторы могли решать конкретные коммуникативные задачи (Leff, 2006, с. 203; Rubinelli, 2014).

Несколько в стороне от изложенных нами подходов стоит концепция Эрнста Курциуса, который в 1948 г. в работе «*European Literature and the Latin Middle Ages*» предложил понимание топоса как некоей универсальной темы, близкой к юнгианскому архетипу (Curtius, 1963), тем самым ещё больше смещая понятие в область поэтики и стиля. Подобная концепция встретила немало критики: в частности, А.Е. Махов справедливо указывал на то, что такой подход противоречит античному пониманию топоса как эвристической категории и орудия нахождения аргументов (Махов, 2011).

В литературном ключе трактовал общие места М.Л. Гаспаров, определяя их, с одной стороны, как рассуждения на отвлечённые темы и риторическую амплификацию; а с другой — как устойчивый набор образов и мотивов, характерный для литературной системы (Гаспаров, 1987, с. 257).

В целом можно сказать, что в современной риторике общие места зачастую понимаются как отправные точки аргументации, позиции, с которыми соглашается аудитория (Heinrichs, 2017, с. 114–115).

В аналогичном ключе мыслятся топосы и отечественными исследователями в области риторики. Так, Ю.В. Рождественский трактовал общие места как результаты общественного договора, положения, одинаково принимаемые всеми участниками диалога (Рождественский, 1997; Рождественский, 2003).

О том, что в основе топосов лежит согласие говорящего и слушающего, писал А.А. Волков, разделивший топосы на общие и частные: если первые приемлемы для всей культуры, то вторые принимаются лишь определёнными общественными группами и имеют ограниченную сферу употребления (Волков, 2001, с. 62–63).

Значительный вклад в теорию общих мест был внесён Л.В. Ассуировой: она определяла топосы как «структурно-смысловые модели, позволяющие развертывать замысел речи», как «способ исследования темы, метод поиска доказательств» (Ассуирова, 2003, с. 15).

В совершенно ином ключе рассматривал общие места В.П. Москвин, который считал, что инвенцию следует трактовать как поиск доводов путём анализа спорного предмета с разных точек зрения и по определенным параметрам (Москвин, 2010, с. 40). Топосы как раз и служат этими параметрами: планирование речи тем самым превращается в планирование топики для каждого из возможных тезисов (Москвин, 2010).

В рамках нашей диссертации мы будем опираться на другой подход, в рамках которого общие места понимаются как некий естественный – а потому нередко трактуемый как банальный – путь, по которому идет рассуждение; путь развертывания мысли и амплификации текста (Хазагеров, 2008, с. 7). Это коммуникативная, функциональная категория, которая подвергается селекции в зависимости от предпочтений исторической эпохи и особенностей национального менталитета (Хазагеров, 2008, с. 12).

Г.Г. Хазагеров, выдвинувший эту концепцию, выделял три пути развёртывания мысли: семантический, прагматический и синтаксический (Хазагеров, 2017, с. 50–51). К первой группе относятся общие места, способные внести в речь новую тему, дать мысли новый поворот: сюда включаются пословицы, поговорки; упоминания имен великих людей, событий и художественных текстов; афоризмы и сентенции (Хазагеров, 2017, с. 51–52). Эта группа тяготеет к тропам, что очень хорошо видно, в частности, на примере метафоры.

Прагматические топосы связаны с коммуникативными намерениями – они не предлагают нового тематического поворота и не дают синтаксических алгоритмов, а являются лишь «деталью коммуникативного (жанрового) паззла»: сюда входят так называемые речевые жанры (Хазагеров, 2017, с. 51).

Синтаксические общие места представляют собой алгоритмы, порождаемые логическими отношениями: в эту группу включаются, в частности, топосы рода и вида, места и времени, определения и условия. Им соответствуют, как правило, синтаксические и словесные фигуры (Хазагеров, 2017, с. 51–52).

Итак, для судебных речей, равно как и судебного дискурса в целом, характерен определенный набор общих мест, выбор которых обусловлен целым рядом факторов: коммуникативными задачами оратора, спецификой контекста произнесения речи, предпочтениями эпохи и особенностями национального менталитета (Хазагеров, 2008, с. 12). Кроме того, для каждого вида текста, функционирующего в том или ином дискурсе существуют характерные способы развёртывания мысли (Хазагеров, 2008, с. 7). Этот набор является частью более широкого спектра топосов, который Г.Г. Хазагеров в одной из своих статей назвал «топосферой культуры»: она по своей природе изменчива, поскольку отражает сдвиги в общественном сознании и может обогащаться (Хазагеров, 2017, с. 11). Изменения в топосфере, в свою очередь, ведут к обогащению литературного языка, поскольку возникает новое смысловое пространство, которое языку необходимо осваивать. Анализ

судебного дискурса рубежа XIX–XX вв. показывает, что реформа 1864 г. и введение суда присяжных инициировали сдвиг в системе общих мест, характерных для этой дискурсивной сферы.

### 3.2. Семантические топосы и развитие семантики

К семантическим общим местам относятся пословицы и поговорки, крылатые слова и выражения, афоризмы, персоналии, устойчивые метафоры и сравнения, которые позволяют подчеркнуть нужные оратору качества предмета и выявить полезные нюансы темы (Хазагеров, 2017, с. 52). Далее мы последовательно рассмотрим средства репрезентации семантических общих мест, выявленных в судебном дискурсе рубежа XIX–XX вв.

Известно, что в русских пословицах и поговорках – как и в фольклоре в целом – закрепилось весьма негативное отношение к суду (Khazagerov, 2021, с. 662): он ассоциировался с отсутствием правды (*Неправдою суд стоит; В суд пойдешь – правды не найдешь* (Даль, 1989, с. 147)); с произволом и продажностью судей, которые могли интерпретировать закон, как им вздумается (*Пред бога с правдой, а пред судью с деньгами; Не бойся суда, бойся судьи; То-то и закон, как судья знаком* (Даль, 1989, с. 143, 147)); с предвзятостью решений (*Перед судом все равны: все без окупа виноваты* (Даль, 1989, с. 147)). Подобное восприятие нашло отражение и в фольклорных текстах, например, в русской демократической сатире XVII в. – достаточно будет вспомнить «Повесть о Шемякином суде» и «Повесть о Ерше Ершовиче» (Повесть о Шемякином суде, 1954; Повесть о Ерше Ершовиче, 1954).

Судебная реформа 1864 г., направленная, кроме прочего, на формирование положительного отношения подданных Российской империи к институту суда (Судебные уставы, 1867, с. XXXVIII), и введение суда присяжных создали совершенно новую ситуацию, когда исход дела

зависел не от судей, а от заседателей. В таких условиях старые общие места и пространства смыслов теряли свою актуальность, поэтому ораторы вынуждены были обращаться к другим семантическим топосам, которые подчеркивали важность суда, его способность выносить справедливые решения и которые бы показывали, что правосудие нуждается в точности, оно не может основываться на кажущейся истине и ложных впечатлениях.

В первую очередь семантические топосы были направлены на развенчание устоявшихся в русской культуре представлений о суде как институте. Вместо отражённых в фольклоре идей продажности судей, предвзятости решений и возможности трактовать закон и обстоятельства дел в удобном ключе адвокаты активно продвигали идею о справедливом для всех правосудии, которое считается с фактами и доказательствами и не терпит вольных интерпретаций закона.

Интересна в этом смысле речь Н.П. Карабчевского по делу И.И. Мироновича, в которой адвокат с самого начала использует топос *первое впечатление* и метафорически представляет предубеждение, с которым столкнулись присяжные, со *страшной и многоголовой гидрой* (Карабчевский, 2010, с. 40):

*Страшная и многоголовая гидра-предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле, злополучном с первого судебного шага, злополучном на дальнейшем протяжении процесса* (Карабчевский, 2010, с. 40).

Далее во вступительной части речи мы находим едкую, доходящую до сарказма, иронию по отношению к следствию, которое с *бессознательным упорством стихийной силы* развивало версию, которая стала *ходячей монетой* ещё до начала основательных следственных действий (Карабчевский, 2010, с. 40). В противовес стремлению обвинения видеть желательное, но не реальное Н.П. Карабчевский посредством сентенций говорит, что правосудие нуждается в точности и должно опираться на науку, а приговор присяжных

должен заключать в себе не гипотезу, а саму истину (Карабчевский, 2010, с. 40–55).

Примечательно, что семантические топосы, отсылающие к мифологии, магии, фольклору и сказочно-фантастическому очень часто встречаются в контексте указаний на необходимость избегать предвзятости и разного рода предубеждений.

Н.П. Карабчевский, сравнивая правосудие с «зеркалом души народа», говорил, что если эта душа смутна и заволочена *известным общественным движением*, то она отражает в себе *чудовищные и фантастические образы* (...но вот наука пришла на помощь и всё опровергла. У вас фантазия, а у нас экспертиза (Карабчевский, 2010, с. 479, 499)). В другой своей речи он сравнивал превратную картину преступления с *отражением волшебного фонаря*, который при помощи искусственного света проецирует *лубочные картинки* (Карабчевский, 2010, с. 221). Показания же одного из свидетелей он называл *бабушкиными и дедушкиными сказками и рассказами из тысячи и одной ночи* (Карабчевский, 2010, с. 246).

*Отвлечённой идеи и призрака* опасался В.Д. Спасович в речи по делу С.Л. Кронеберга:

*...я боюсь, господа присяжные заседатели, не определения судебной палаты, не обвинения господина прокурора, <...> – я боюсь отвлечённой идеи, призрака, боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет своим предметом слабое, беззащитное существо* (Спасович, 1894, с. 50).

Семантические общие места в данном случае рисовали яркий контраст между старыми, устоявшимися предубеждениями, склонностью судить поспешно и основываясь лишь на поверхностных мнениях и первых впечатлениях и необходимостью ясного, непредвзятого взгляда на дело, вдумчивого анализа, который основывался бы на объективных данных и веских доказательствах. Временами судебные ораторы достаточно резко выступали против своих оппонентов и указывали на хрупкость умозаключений, которые строятся на подозрениях.

Так, например, П.А. Александров, сравнивал несправедливые подозрения с туманом, который вызван умственной слепотой и простотой знаний, достойных дикарей (Александров, 1957, с. 80)<sup>22</sup>. В речи по делу об убийстве Сарры Модебадзе адвокат использовал ещё одну весьма любопытную метафору, которая призвана была показать слабость аргументации обвинения. Используя антаподозис, т.е. развернутую метафору, снабжённую толкованием (Хазагеров, 2009, с. 254), он представлял сведения обвинительного акта в виде готического собора, похожего на Миланский, с группами скульптур: каждая из фигур олицетворяла кого-то из фигурантов дела. Рассматривая и узнавая в этих фигурах участников процесса, П.А. Александров отсылал слушателей к образам двенадцати апостолов, причём отец убитой косвенно уподоблялся Иуде Искариоту. Поочерёдно рассмотрев эти фигуры, адвокат говорил о *роковой архитектурной ошибке в фундаменте*, которая делает здание шатким, непрочным и ненадёжным (Александров, 1957, с. 82). Этой развёрнутой метафорой пронизана вся речь.

Аналогичным образом, используя метафору тьмы, А.И. Урусов весьма резко выступает против стороны обвинения, указывая, что речь прокурора *затемнила дело, внесла в него множество лишнего, непроверенного* (Урусов, 1901, с. 152), и выражает удивление, что при таком подходе к обвинению *мы ещё лицемерно удивляемся варварским предрассудкам тёмной массы* (Урусов, 1901, с. 155).

В этом же фрагменте защитительной речи, которая была произнесена по делу об убийстве Марии Дричь, адвокат говорит: *<...> когда нашли труп, понадобилось и объяснение – и пошли работать языки* (Урусов, 1901, с. 160). Использование фразеологизма позволяет емко и метко показать, что дело с самого начала было овеяно сплетнями и этническими предрассудками, которые вкупе с неудачным ведением следствия, укрепили первую мысль

---

<sup>22</sup> Примечательно, что метафору тумана использовал и Н.П. Карабчевский в речи по делу Бейлиса. При этом идейный контекст этих обоих дел чрезвычайно близок: в обоих случаях подсудимые обвинялись в ритуальном убийстве.

общественности о том, что убийство было совершено евреями. Адвокат указывал на недопустимость подозрений, основанных лишь на предрассудках в отношении евреев, о неприемлемости обобщений и голословных утверждений (Урусов, 1901, с. 154–156).

В контексте рассуждений о заблуждениях, во власти которых могут оказаться не только присяжные, но и обвинение, адвокаты нередко использовали метафору *пути*. Так, например, поступил К.Ф. Хартулари во вступительной части своей речи по делу Маргариты Жюжан:

*Я позволил себе высказать подобный, быть может, и преждевременный взгляд на обвинение <...>, дабы предупредить возможность судебной ошибки в вашем приговоре, которая неизбежна, если вы последуете по пути, указываемому вам обвинительной властью... (Хартулари, 1957, с. 769).*

Семантические топосы также позволяли развить идею равенства всех людей перед судом. Особенно показательным в этом смысле было дело Светлейшего князя Г.И. Грузинского, который обвинялся в убийстве доктора медицины Э.Ф. Шмидта. В состав присяжных вошли десять крестьян, один мещанин и один купец; старостой также был избран крестьянин. В такой весьма необычной ситуации Ф.Н. Плевако в самом начале своей защитительной речи выступил с обращением к присяжным, в котором открыто выразил уверенность, что они будут справедливо, *по-человечески* судить князя, а не по *фарисейской правде, видящей у ближнего в глазу спичу, у себя не видящей бревна* (Плевако, 1993, с. 403). Здесь сразу два семантических топоса: один представляет собой известную русскую пословицу; другой же отсылает к Новому Завету. Оба общих места представляются очень удачными, т.к. они апеллируют к народной культуре и религии.

Значимость роли и решений присяжных могла подчёркиваться и другими средствами – например, метафорой летописи. П.А. Александров, завершая речь в защиту евреев, обвинённых в убийстве, благодарит присяжных за внимание и выражает надежду, что такого рода процесс,

построенный исключительно на предрассудках, станет *последним делом такого свойства в летописях русского процесса* (Александров, 1957, с. 119). Аналогичным образом закончил свою речь в защиту Маргариты Жюжан, обвинённой в отравлении, К.Ф. Хартулари: он подчеркнул, что этот процесс, *будучи занесён в нашу судебную-уголовную летопись*, в будущем вызовет лишь недоумение (Хартулари, 1957, с. 782). Характер этой метафоры указывает на то, что адвокаты воспринимали судебные речи и выраженные в них идеи как нечто значимое не только для юридической сферы, но и для всего общества: решение присяжных в суде – не просто формальность, оно может стать вехой развития. Примечательно, что в другой своей речи, по делу М. Левенштейн, К.Ф. Хартулари говорил о нравственно-педагогическом значении суда и его приговоров:

*Если только вы признаете за судом уголовным и его приговорами нравственно-педагогическое значение <...>, то, несомненно, должны будете отнестись к участи обвиняемой с тем особенным вниманием и осторожностью, которыми только и обуславливает справедливость человеческого суда вообще и вашего будущего приговора в особенности!* (Хартулари, 1957, с. 793).

Развивая идею о справедливом суде, недопустимости некачественных методов ведения следствия, плохо аргументированных и голословных обвинений, адвокаты нередко использовали семантические топосы, которые позволяли выразить глубокую иронию по отношению к обвинению, следствию и даже общественному мнению. Так, например, Н.П. Карабчевский иронично называл рвение журналистов, до окончания следствия поспешивших обвинить И.И. Мироновича в убийстве, *лекоковским*, отсылая тем самым к популярным остросюжетным романам Эмиля Габорио (Карабчевский, 2010, с. 41). В той же речи версия помощника пристава *с бессознательным упорством стихийной силы* направляет следствие по ложному пути (Карабчевский, 2010, с. 41). Метафоры стихии вообще нередко встречаются в речах Н.П. Карабчевского: так, например, в

речи по делу мултанских вотяков предыдущие обвинительные приговоры сравнивались с потоком, который течет по *заранее готовому руслу*, и, чтобы разобраться в этом деле, *источнику истины* необходимо *проложить своё собственное русло* (Карабчевский, 2010, с. 246).

Рассмотрев то, как семантические топосы в судебном дискурсе рубежа XIX – XX вв. полемизировали с фольклорными и устоявшимися в русской культуре представлениями о суде, необходимо несколько слов сказать о том, что семантические топосы, как правило, распределены в текстах неравномерно, они концентрируются преимущественно в сильных позициях текста. Их количество и тематическая направленность обусловлены не только риторической ситуацией, экстралингвистическим контекстом произнесения речи, но и индивидуальным стилем оратора. В рамках настоящей диссертации перед нами не стоит цель выявить индивидуальные особенности – мы лишь скажем, что даже при поверхностном прочтении речей не могут не обратить на себя внимание некоторые закономерности использования семантических топосов каждым конкретным оратором: так, например, в речах часто цитируемого в данном параграфе Н.П. Карабчевского значительное место занимает пафосная аргументация, и, как следствие, в них намного больше семантических топосов, чем в речах А.Ф. Кони, который больше внимания уделял чисто логической стороне и актуализации логических связей. Однако и в речах последнего можно найти весьма интересные примеры семантических топосов и сквозных метафор. Очень яркой в этом смысле стала финальная часть речи А.Ф. Кони по делу о Станиславе и Эмиле Янсенах, которые вместе с Германией Акар обвинялись во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, их выпуске и обращении. Адвокат развертывает метафору войны: подделка кредитных билетов рисуется как *война* против общества и государства, прекратить которую может только суд – единственное *чистое, торжественное и хорошее* средство (Кони, 1967, с. 112). Приговор присяжных тем самым является оружием, которое беспристрастно карает виновных в преступлениях против общества (Кони, 1967, с. 113). Метафора

войны активно работает на формирование крайне негативного образа обвиняемых, которые предстают перед аудиторией как настоящие государственные преступники, подрывающие не только экономику Российской империи, но и благополучие самых простых людей.

Подобным образом работали семантические топосы, когда Н.П. Карабчевский указывал на наиболее вероятных убийц. Он говорил, что они *как волки рыскали по Петербургу*, спешили в свое логово, *змеёй вползали в квартиру*, а давая показания, рассказывали *жалкие басни* (Карабчевский, 2010, с. 61). Анималистические метафоры в совокупности с упоминанием дидактического литературного жанра создают весьма интересный эффект: если в басне животные наделяются качествами и характеристиками людей, то здесь все происходит ровным счетом наоборот: люди, совершившие убийство, наделяются чертами опасных животных.

Упоминания писателей, литературных персонажей и художественных текстов, в которых были затронуты актуальные для оратора и общества вопросы, – отдельный пласт семантических топосов, распространённых в судебном дискурсе конца XIX – начала XX вв. Их широкое применение связано с литературоцентричностью русского общества, о которой мы писали ранее, во второй главе.

Нередко семантические топосы служили средствами лаконичной и емкой характеристики участников дела. Так, А.Ф. Кони, характеризуя Станислава Янсена, использует цитату из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»:

*...человек [С. Янсен – А. Б.] верный, близкий, в том возрасте, который «ходит осторожно и осмотрительно глядит»* (Кони, 1967, с. 104).

Подобную функцию чаще всего выполняли семантические топосы, которые воплощались в пословицах и поговорках, которые благодаря общеизвестности уже содержащимся в них оценочном компоненте позволяли метко описать характер, образ жизни и взгляды участников дела. Так, например, А.Ф. Кони, чтобы указать на беспорядочное ведение бухгалтерского отчета в магазине Герминии Акар говорил, что *своя рука –*

*владыка* (Кони, 1967, с. 110). Описывая тихий и совершенно неприметный образ жизни убитого Филиппа Штрама, А.Ф. Кони отмечал, что тот был *тише воды, ниже травы* (Кони, 1967, с. 162).

Аналогичным образом работали и сентенции в речи В.Д. Спасовича, который, объясняя реакцию подсудимого Кронеберга на ложь дочери, напоминал, что *ложь есть мать всех пороков* (Спасович, 1894, с. 67). В контексте же родительских наказаний адвокат использовал ещё одну сентенцию, которая отсылала к своего рода народной мудрости и опыту предыдущих поколений: <...> *в прежнее время говорили: «Он избавляет сына от виселицы»* (Спасович, 1894, с. 68).

Семантические топосы иногда позволяли дать характеристику не только конкретному участнику дела, но разобрать явление действительности или характерный социальный тип. П.А. Александров, рассуждая в речи по делу Веры Засулич об образе должностного лица в глазах народа, упоминал мифологического двуликого Януса:

*Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, начальству <...>; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой* (Александров, 1957, с. 24).

В.Д. Спасович в одной из речей по «Нечаевскому делу» говорил, что Нечаев скроен по типу героя романа И.А. Гончарова «Обрыв» – Марка Волохова, но в нём также было *много хлестаковского* (Спасович, 2010, с. 261), тем самым ёмко и полно характеризуюя его.

Примечательно, что в речи по «Нечаевскому делу», но уже в защиту другого обвиняемого есть много отсылок к историческим лицам и их высказываниям. Особенно интересно приведённое В.Д. Спасовичем высказывание отца Жозефа, сподвижника кардинала Ришелье, который считал, что для того, чтобы повесить человека, достаточно иметь о нём всего две строчки. Эта отсылка позволяет оратору вступить в полемику

с обвинением и официальной практикой, указать на необходимость судить не просто за наличие оппозиционной статьи или прокламации, а за её реальное содержание; её прежде всего необходимо подробно разобрать – простое наличие оппозиционной статьи не может трактоваться как оскорбление императора или измена (Спасович, 2010, с. 288–289).

Защищая М. Бейлиса, Н.П. Карабчевский, чтобы подчеркнуть, что привлечённые свидетели не имеют никакого отношения к делу, приводит цитату из «Гамлета» У. Шекспира:

*Вот уж подлинно: «Что им Гекуба, и что они Гекубе?» Что им до верования еврейского, до Талмуда, до Зогира?* (Карабчевский, 2010, с. 484).

В этой же речи встречается отсылка к «Запискам из Мертвого дома» Достоевского: упоминая показания одного из свидетелей, который слышал разговор двух сокамерников, адвокат говорит, что так и слышит шепот арестантов, которые отводят душу за рассказами о своих похождениях (Карабчевский, 2010, с. 505). В другой своей речи он характеризует показания как *полные таких психологических черточек и подробностей, которых не выдумать самому Достоевскому* (Карабчевский, 2010, с. 57–58).

Ф.Н. Плевако, желая показать, что П.П. Качка совершила убийство в состоянии умоисступления, приводит целые цитаты из стихотворения Н.А. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» (например: Плевако, 1993, с. 339). Песню на основе этого произведения пела подсудимая перед тем, как совершить преступление: сопоставление поэтических цитат с состоянием Качки и её воспоминаниями повышало риторический пафос и позволяло оратору косвенно развить мысль о том, что до убийства Качку довели обстоятельства и тяжелая судьба и что её нужно не судить, а *воскресить* и вынести приговор, который станет для неё *новым рождением на лучшую, страданиями умудренную жизнь* (Плевако, 1993, с. 341).

Речь в защиту П.П. Качки – не единственная, в которой Ф.Н. Плевако цитирует Н.А. Некрасова: фрагмент из «Размышлений у парадного подъезда»

встречается в заключительной части речи в защиту люторических крестьян, обвинявшихся в сопротивлении должностным лицам, исполнявшим судебное решение. Адвокат выражал уверенность, что присяжные не отнесутся к их страданиям как к чему-то, что указало *ведущее нас Провидение* и что крестьянам необходимо просто перетерпеть, а помогут *страстотерпцам труда беспросветного* найти себе *защиту под сенью закона* (Плевако, 1912, с. 312).

Подобные общие места могли не только способствовать полемике с устоявшимися в обществе представлениями, но и развивать современные идеи, одной из которых была идея о влиянии среды на преступника и способности внешних обстоятельств подтолкнуть человека на преступление (отсюда и частые упоминания адвокатами Ф.М. Достоевского и его работ). Этот топос также мог воплощаться в развернутых метафорах, как это было в уже упомянутой речи Ф.Н. Плевако по делу П.П. Качки:

*<...> семя жизни Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую почву. Каким-то чудом оно дало – и зачем дало? – росток; но к этому ростку не было приложено забот и любви: его вскормили и взлелеяли ветры буйны, суровые вьюги и беспорядочные смены стихий»* (Плевако, 1993, с. 336).

Топос среды вообще занимает центральное место в речи Ф.Н. Плевако: его задача – убедить присяжных, что совершенное подсудимой в состоянии аффекта убийство во многом связано с её негативным жизненным опытом, условиями, в которых она выросла и прожила большую часть своей юности.

Посредством семантических топосов ораторы не только развивали в рамках судебного дискурса идеи, транслируемые литературой XIX в., но и полемизировали с устоявшимися стереотипами и этническими предрассудками. Очень показательны в этой связи два процесса, которые были связаны с обвинениями в ритуальных убийствах, – это так называемое «Дело мултанских вотяков», когда группу крестьян-удмуртов обвинили в принесении языческим богам человеческой жертвы (Карабчевский, 2010) и

«Дело Сарры Модебадзе», в рамках которого евреи были обвинены в ритуальном убийстве (Александров, 1957). В этих условиях поистине новаторскими оказывались решения адвокатов, которые использовали семантические топосы, связанные с христианством, для развеивания мифов и борьбы с предрассудками (Бондарева, 2019, с. 473).

Так поступил Н.П. Карабчевский, когда провел прямые параллели между удмуртами и первыми христианами, которые тоже обвинялись в человеческих жертвоприношениях. Адвокат в процессе выступления зачитывал объёмный фрагмент из сочинения Тертулиана, в котором апологет рассказывает о слухах, ходивших вокруг религиозных практик христиан, и который завершается сентенцией философа о том, что *молве не может верить умный человек, потому что он никогда не верит тому, что сомнительно* (Карабчевский, 2010, с. 252–253).

П.А. Александров, защищая группу евреев, обвинявшихся в убийстве Сарры Модебадзе, начинал свою речь с прямого указания на то, что его речь обращается к тем, кто хочет найти основания для критики старого убеждения против евреев и *найти в судебном решении урок и полезное указание для будущего отношения к еврейству* (Александров, 1957, с. 81). Так же, как и Н.П. Карабчевский, он указывает на то, что первых христиан тоже обвиняли в употреблении крови и с этими представлениями приходилось активно бороться апологетам, в том числе Тертулиану и Августину (Александров, 1957, с. 111).

Значительную часть речи П.А. Александрова занимала полемика с работами и идеями И.И. Лютостанского, которые носили антисемитский характер и были достаточно распространены. Приводя доводы против, П.А. Александров упоминает религиозных деятелей прошлого, например средневековых римских пап Григория IX, Клементя VI, а также Сикста IV, которые не поддерживали идею о наличии у евреев практики жертвоприношений (Александров, 1957, с. 111). В заключении, как и в начале речи, адвокат выражает надежду, что разбор этого дела окажет влияние на

общественное мнение, поможет развеять предрассудки и изменит взгляды на религию, которая некогда была *первенствовавшей и давшей соки самому христианству* (Александров, 1957, с. 118).

Отсылки на религиозные тексты и сюжеты позволяли дать оценку действиям участников дела, давали возможность аудитории с новой точки зрения посмотреть на совершённые ими преступления. Так, в речи Ф.Н. Плевако по делу князя Грузинского они позволили оратору достаточно лаконично и емко показать, что убийства могут быть двух типов. Это может быть *грех Каина, который обусловлен уступкой злу, пороку, слабости* или следствием состояния, когда душа *возмущается во имя нравственных правил*:

*Так, Петр поражает раба, оскорбляющего его Учителя* (Плевако, 1993, с. 414).

Убийство, совершенное князем Грузинским, с точки зрения оратора (и эту мысль адвокат развивает на протяжении всей речи), попадает именно во вторую группу.

Рассмотренные нами примеры судебного дискурса рубежа XIX–XX вв. показывают, что семантические топосы служили важным инструментом развития новых идей и полемики со старыми представлениями: переосмыслялась роль суда в жизни общества; принципы, на которых должно зиждиться правосудие и следствие; пересматривались предрассудки и представления о других народах. Кроме того, получали развитие идеи, которые уже присутствовали в общественном сознании: как правило, к ним отсылали упоминания писателей, литературных персонажей и художественных текстов, в которых были затронуты актуальные для оратора и общества вопросы и проблемы.

### 3.3. Прагматические топосы и обогащение лексики

Прагматические топосы связаны с коммуникативной стороной общения, его целью и речевыми жанрами (Хазагеров, 2017, с. 51). Как писал М.М. Бахтин, «в каждую эпоху развития литературного языка задают тон определенные речевые жанры» (Бахтин, 1986, с. 434). Они могут становиться более актуальными или менее; могут возникать и новые жанры, в том числе в результате гибридизации существующих, тем самым отражая тенденции в развитии общества (Дубровская, 2014, с. 61–62). Речевые жанры служат своего рода лабораторией для испытания новых языковых явлений, которые, прежде чем стать частью литературного языка, проходят длительные и сложные испытания (Бахтин, 1986, с. 434). В данном параграфе нас прежде всего будут интересовать как раз явления лексические.

В контексте прагматических топосов и речевых жанров необходимо отметить ещё одну деталь: судебный и художественный дискурсы, в которых фигурируют те или иные речевые жанры, имеют очень разную прагматику. Для дискурсов, которые связаны с ситуациями официального и делового общения (в том числе для судебного), нехарактерны образность и использование тропов, эмоциональная окраска и оценочная лексика. Художественному же дискурсу свойственно совершенно противоположное: он тяготеет к образности и эмоциональности, использует средства выразительности; он не чужд стилизациям и использованию нелитературных элементов, в том числе разговорной лексики, которая делает текст более естественным.

Эти разнонаправленные тенденции двух дискурсов соединялись в речах адвокатов конца XIX – начала XX вв., причём соединялись, как показывает более пристальное прочтение их речей, весьма гармонично.

Одним из наиболее характерных для судебного дискурса рубежа XIX–XX вв. был топос описания, к которому прибегали адвокаты, чтобы описать материальную обстановку и место преступления.

А.Ф. Кони, описывая в своей речи по делу Станислава и Эмиля Янсенов и Герминии Акар обстановку и атмосферу магазина, который держала обвиняемая и где реализовывались фальшивые деньги, использует оценочную лексику: магазин располагался *в лучшем месте города*, модистки ходили *в блестящих костюмах* и обладали *изысканными манерами* (Кони, 1967, с. 107).

Перед аудиторией предстает богатая обстановка, в которой *великосветским барыням* и богатым покупателям *под шумок, среди любезностей и весёлой французской болтовни* сбывались *фальшивые бумажки* (Кони, 1967, с. 107). Описание позволяет адвокату не просто показать обстановку, в которой совершалось преступление (состоятельные люди, привыкшие тратить крупные суммы, могли совершенно не заметить тот факт, что им дали сдачу фальшивыми 10-рублевыми ассигнациями), но и посредством косвенной характеристики модистки Акар и её окружения привести дополнительный довод в пользу того, что она имела все возможности для участия в незаметном сбыте фальшивых ассигнаций.

Примечательно, что на протяжении всей речи для обозначения денежных ассигнаций А.Ф. Кони использует именно разговорное слово *бумажки*, что усиливает очевидно негативную оценку деятельности подсудимых и создает ещё более негативное впечатление у слушателей от самого преступления (не последнюю роль в данном случае играет и метафора войны, которую использует адвокат на протяжении всей речи: А.Ф. Кони показывает подсудимых как участников *систематической войны против общества и государства*, против *каждого из русских людей* и *отечественного рынка*, единственным средством против которой может быть только суд). Это впечатление усиливается за счет использования разговорных слов и стилизации просторечия, которые встречаются в описаниях преступной деятельности Янсенов и Акар:

*...надо иметь лицо, которое возьмет бумажки, будучи уверено, что их можно сбыть с барышом, а для этого надо отвести бумажку и показать ее: «годятся ли-де такие?» (Кони, 1967, с. 106).*

Не менее выразительным оказывается описание обстановки кондитерской в речи Ф.Н. Плевако в защиту князя Г.И. Грузинского:

*...в кондитерской нужна приманка. Вот и стоят там в залитых огнями и золотом палатах красавицы-продавицы. <...> А если девушка хороша и нестрога, отбоя нет: баричи и сыновья богачей начнут охотиться за добычей. Удача – пошелят, до нового лакомого куска; шалют наперебой; но, шалю и играю, они смотрят на ту, с кем играют, легко. <...> Князь [Г.И. Грузинский. – А.Б.] иначе отнесся к делу (Плевако, 1993, с. 404).*

Ф.Н. Плевако описывает среду, в которой находилась будущая супруга князя, в очень живой манере, которая по своему стилю приближается к сказу. Просторечные выражения (например: *им больно, да хозяину барыш, – ну и терпи!*) и сравнение обстановки кондитерской с золотыми палатами создает живые, почти сказочные образы и ощущение динамично разворачивающегося сюжета (однако это заслуга и синтаксической организации речи, т.к. оратор намеренно использовал более короткие периоды). Специфика данного описания напрямую связана, на наш взгляд, с особенностями слушателей: на процессе по делу князя Грузинского абсолютно большинство присяжных было из числа крестьян.

Данная речь адвоката вообще интересна с точки зрения тщательного и последовательного отбора средств: лексика, используемая адвокатом в контексте описаний и повествований, связанных с князем Грузинским, содержит положительные оценки его личности и деятельности; он резко противопоставлен убитому Шмидту. Князь обладает *героическим терпением* и *смирением праведника*, но *взрывается* из-за поступка княгини и Шмидта (Кони, 1967, с. 409–410), которые описываются адвокатом при помощи более сниженной, нередко фамильярной лексики, которая не только формирует исключительно негативное впечатление от их поступков, но и

позволяет подчеркнуть, что совершённое князем Грузинским убийство было не просто результатом эмоционального порыва, а *самовольной защитой* своих *поруганных прав* (Кони, 1967, с. 415). Шмидта адвокат открыто называет *прихлебателем, пройдохой и зазнавшимся приживалкой*, который при детях *обзывает* князя и *костит* его (Кони, 1967, с. 410, 412, 413,); Шмидт с княгиней не спорят, но *перекоряются* (Кони, 1967, с. 406). Эти элементы, как мы сказали, относятся к разряду просторечных и разговорных, имеют презрительный оттенок и несут яркую негативную оценку.

Несколько более сдержанной, хотя не менее выразительной, является речь В.Д. Спасовича по делу Островлевой и Худина (Спасович, 1913). Кратко рассказав во вступительной части речи о том, как было начато следствие, адвокат переходит к описанию событий вечера, когда извозчик Савин был ограблен:

*Был теплый августовский вечер в начале одиннадцатого часа. Улицы были освещены газом. На углу Большой Конюшенной и Невского стоял извозчик Савин, поджидавший седоков, дюжий человек, но тупой и неразвитый, что весьма наглядно уяснилось при следствии* (Спасович, 1913, с. 4).

При прочтении фрагмента невольно возникает мысль, что подобное повествование с элементами описания вполне могло бы послужить началом какого-нибудь художественного произведения. Однако в нём есть элементы, которые выдают принадлежность к судебному дискурсу и, как следствие, особую прагматику. Так, В.Д. Спасовичем в этом фрагменте делается упор на детальное указание времени тех или иных событий, географического положения, а также денежных сумм, которые получал извозчик и которые впоследствии были похищены.

Данный фрагмент также иллюстрирует важный аспект, который выявляется в процессе анализа прагматических топосов, а именно – тесное переплетение в рамках судебного дискурса топосов повествования и

описания. Первые не сводятся к сухому изложению фактов и в подавляющем большинстве случаев синхронно разворачиваются вместе с описаниями.

В речи В.Д. Спасовича по делу Островлевой и Худина вообще очень ясно прослеживаются две тенденции: с одной стороны, тяготение к предельной точности и фактографичности повествования, а с другой – почти художественная изобразительность; первая характерна для судебного дискурса, вторая – для поэтического. Однако объединение двух тенденций не покажется чем-то нелогичным, если снова вспомнить, что судебные ораторы имеют дело в первую очередь с объективными данными, которые должны быть донесены до присяжных. Вкрапления элементов художественного дискурса позволяли предельно формализованным юридическим текстам (например, заключениям экспертов) обрести наглядность и воплотиться в понятные образы; помогали компенсировать невозможность увидеть своими глазами значимые детали дела (например, место преступления).

Тем не менее в судебном дискурсе и судебных речах факты не всегда тесно переплетались со средствами изобразительности. Интересным примером в данном случае может послужить другая речь В.Д. Спасовича – по делу братьев Чхотуа, которые обвинялись в убийстве Н. Андреевской (так называемое «Тифлисское дело»). Значительная часть речи оратора была посвящена описанию течения реки, её скорости, местности, где произошло преступление, а также состояния трупа. Эти описания изобилуют числами, расчетами и данными экспертиз, здесь в избытке лексические единицы, принадлежащие медицинскому дискурсу (например: *гипостозы, экхимозы, имбибиция, апopleксия, visum repertum* (например: Спасович, 1957, с. 600, 602–603, 605)). На этих элементах даже строятся целые метафоры. В.Д. Спасович сравнивает мотив преступления с «*клеткой и сердцем*»: обойдя вниманием мотив, суд дал *постройку преступления без грудной клетки и сердца* (Спасович, 1957, с. 629). Этим адвокат подчеркнул, что без соответствующих деталей обвинение несостоятельно и нежизнеспособно, как нежизнеспособен человеческий организм без сердца.

Описание психологического состояния – ещё один прагматический топос, который активно использовался адвокатами рубежа XIX–XX вв. и который стал полем взаимодействия судебного и художественного дискурсов. Перед ораторами стояли задачи, сходные с задачами писателей-реалистов: от адвокатов требовалось понимание психологии, умение очень точно передать средствами языка самые сложные оттенки и нюансы душевных состояний, эмоций, особенности внутренней жизни другого человека. Поиск средств здесь, вероятно, происходил тем же путем, что и у авторов художественных текстов.

Средства, к которым прибегали судебные ораторы, были разнообразны, а временами весьма оригинальны. Здесь можно снова вспомнить речь Ф.Н. Плевако по делу П.П. Качки, где психологическое состояние обвиняемой рисовалось посредством обильного цитирования стихотворения Некрасова и детального, динамичного воспроизведения хроники убийства, которое завершается метафорическим описанием:

*<...> одна волна, что несла убийство, перегнала другую, нёсшую самоубийство, и разрешилась злом, унёсшим сразу две жизни, – ибо и в ней убито всё, всё надломлено, всё сожжено упреками неумирающей совести и сознанием греха... (Плевако, 1993, с. 339-340).*

Эффективным средством изображения психологических состояний служила несобственно-прямая речь, которая характерна в первую очередь для художественной литературы (Сысоева, 2004). К этому приему прибегает Ф.Н. Плевако в речи по делу князя Грузинского, когда описывает настроение обвиняемого перед убийством. Примечательно, что оратор при помощи цепочки риторических вопросов транслирует не только мысли самого князя, но и его детей, прибегая к стилизации:

*Куда идти? Домой? А там его спросят эти ужасные, милые, насмешливо-ласковые детские голоса: а где же белье? Что, папа, бука-то, знать, сильнее тебя? <...> Плох же ты, папа! <...> Мы тебя забудем, мы от тебя отвыкнем... (Плевако, 1993, с. 411).*

Судебные ораторы также могли описывать характеры, выявляя в них типическое, совершенно в духе современной им художественной литературы. Так, например, поступил К.Ф. Хартулари в речи по делу Маргариты Жюжан. Рассказывая о подсудимой, он в достаточно объемном фрагменте речи делит достоинства и недостатки подсудимой на те, которые свойственны всем женщинам (*необыкновенную нервность, подвижность, развитие сердца и чувствительности*) и которые свойственны француженкам (*женщина минуты, не думающая о будущем, постоянно весёлая, смеющаяся*). Подсудимая — *дитя того кружка французского общества, который постоянно снабжал Россию типами женщин, способных к весьма разнообразной деятельности*; нередко в конце своей деятельности они с *маленьким, разбитым голосом являются на театральных подмостках, увлекая так называемую нашу золотую молодежь...* (Хартулари, 1957, с. 770–771).

Выявление типического – достаточно интересная тенденция с точки зрения именно судебного дискурса, поскольку типизация подразумевает обобщение, выход далеко за пределы конкретного, попытку представить частное как отражение некоей тенденции, социально-политического и культурного паттерна. В сущности, это не входит в задачи адвоката, поскольку рассмотрение дела требует работы с конкретными обстоятельствами, оно всегда связано с частным случаем. С этой точки зрения становится особенно заметно, что судебные ораторы рубежа XIX – XX вв. были склонны привносить элементы, специфические для художественной литературы.

Описаниям душевных состояний могли сопутствовать описания обстановки (не только вещественной, но и психологической), в которой фигуранты дела росли, жили и работали.

В речи П.А. Александрова по делу Веры Засулич, обвинявшейся в покушении на генерала Ф.Ф. Трепова, можно обнаружить множество почти пушкинских эпитетов, которые, благодаря своей краткости, точности и выразительности, заостряют внимание аудитории на мыслях

оратора (Хазагеров, 2002, с. 300–301). Рисуя обстоятельства, при которых формировалась личность Засулич, адвокат использует приём контраста: вместо *ясной, розовой, обольстительной* стороны жизни, полной *весёлых надежд, незабываемых радостей, прочных симпатий* и духа товарищества (Александров, 1957, с. 26), подсудимая оказывается в Петропавловской крепости, где звучит *уныло-музыкальный* звон часов, а окружение состоит исключительно из караульных и *жертв несчастной доли* (Александров, 1957, с. 27). Примечательно, что в данном случае обе части описания можно противопоставить и на основе ритма. Описание типичной юности у П.А. Александрова оказывается более динамичным за счет перечислений и концентрации глаголов (*пробуждаются – завязываются – выносятся*), чем описание лет ее заключения (Александров, 1957, с. 26).

В речи П.А. Александрова по делу Веры Засулич также можно обнаружить воссоздание чужой речи и даже диалогов, которые включены в текст выступления как прямая речь. Поскольку они не являются фиксацией реальных высказываний участников дела, а отражают лишь вероятные высказывания, такая речь неизменно носит на себе отпечаток художественной стилизации. Особенно ярким в этом смысле является воссоздание диалогов Засулич с жандармами и надзирателями:

*«Как в тюрьму? Вероятно, это недоразумение, я не привлечена к нечаевскому делу, не предана суду»... <...> – «Не могу знать, – отвечает надзиратель, – пожалуйста, я от начальства имею предписание взять вас»* (Александров, 1957, с. 27–28).

Если речь Засулич воссоздается как естественная и бытовая, то речь жандарма и надзирателя с формулами вроде *не могу знать, имею предписание взять вас, состоять под надзором* (Александров, 1957, с. 27–28) носит на себе отпечаток чиновничьего, казенного стиля.

Подобная стилизация чужой речи может рассматриваться в данном случае как сермоцинация, т.е. включение в собственную речь чужой речи (Хазагеров, 2009, с. 106). С точки зрения риторики её можно трактовать

как вид энергии – оживления речи, создания яркого описания событий или явлений, которое заставляет аудиторию ясно представить себе то, о чём говорит оратор (Bormann, 1977, с. 155). Возникающий эффект заставляет слушателей как бы увидеть описываемые события и испытать ощущение присутствия – энергия делает из слушателей свидетелей событий – или примерить на себя личность изображаемого человека (Lunde, 2004, с. 52).

Энергия ассоциируется в первую очередь с разного рода графичностью; она присутствует в поэтике и в риторике. В рамках последней она выполняет следующие функции: 1) оказывает эмоциональное воздействие; 2) приносит эстетическое удовольствие; 3) позволяет удержать внимание слушателей; 4) укрепляет веру слушателей (Bormann, 1977, с. 155). Однако в контексте серmocинаций энергия может играть ещё одну роль – служить инструментом более ясного изображения характера (в этом качестве она лежит в основе такого риторического жанра, как этопея) (Lunde, 2004, с. 56).

Воссоздавая чужую речь, русские адвокаты конца XIX – начала XX вв. поступали так же, как и писатели, создающие речевые портреты своих персонажей, включающие в себя и манеру говорить, и специфические интонации, лексические единицы, обороты, особенности синтаксиса.

Подобный прием можно встретить не только в упомянутом нами выступлении П.А. Александрова, но и в речах В.Д. Спасовича по «Нечаевскому делу», которые были произнесены в защиту Алексея Кузнецова, Петра Ткачева и Елизаветы Томиловой. В выступлении оратора можно обнаружить воссозданные высказывания Нечаева, которые содержат в себе разговорные элементы с оттенком иронии (например, *генеральствовать, сподобиться <...> высокой степени*), нестройное использование форм обращения: Нечаев обращается к Кузнецову то на *ты*, то на *вы* (Спасович, 2010, с. 274–275). Это создает образ энергичного, напористого и даже наглого в своей лжи молодого человека, в котором *много хлестаковского* (Спасович, 2010, с. 261).

Не менее интересны в лексическом плане рассуждения. В них также обнаруживается тенденция использовать элементы, находящиеся за пределами литературного языка. Преимущественно сюда относятся специальная лексика, которая на момент произнесения речей отражала достаточно новые явления действительности и ещё не совсем обжилась в языке.

Показательно в этом смысле выступление Ф.Н. Плевако в защиту Саввы Мамонтова, обвинявшегося в злоупотреблениях в обществе Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. В речи адвоката встречается множество терминов и сочетаний, относящихся к сфере экономики: *многомиллионное дело, избежать краха, растратчик, купоны, дивиденды, акционеры, продуктивность мероприятий* (Плевако, 1993, с. 267–269), *синдикат, капитализированные доходы* (Плевако, 1993, с. 276, 278).

Но и здесь, среди экономических и банковских терминов, нашлось место художественной изобразительности. Пытаясь показать, что вся коммерческая деятельность Мамонтова имела благие намерения, Ф.Н. Плевако прибегает к достаточно ярким олицетворениям: он говорит, что обвиняемый мечтал *приблизить к московскому рынку бесполезно гибнущие богатства и оживить спящие силы далекого края* (Плевако, 1993, с. 262), а первое его коммерческое дело называет *огненным крещением* (Плевако, 1993, с. 262). Принимаясь за дело, Мамонтов видит в будущем *победоносное бытие, а не трусливую наличность* (Плевако, 1993, с. 262), стремится избежать *ига зависимости* от иностранных предпринимателей, жаждет *оживить умершее дело* и хочет *блеснуть русской сметкой* (Плевако, 1993, с. 265, 277). Сочетание возвышенной лексики и разговорных элементов призвано создать образ деятельного русского промышленника, чья работа была нацелена не столько на финансовую выгоду, сколько на служение государству (Плевако, 1993, с. 265).

Н.П. Карабчевский в речи по делу мултанских вотяков опирался на этнографический материал при анализе обычаев и ритуалов

удмуртов (Карабчевский, 2010): упоминал реалии, имена богов и названия местных племен, использовал отдельные слова удмуртского языка (Khazagerov, 2019, с. 300). Аналогичные лексические элементы использовал писатель и журналист В.Г. Короленко, посвятивший разбору этого дела серию очерков в газете «Русские ведомости» и журнале «Русское богатство» (Khazagerov, 2019, с. 300; Логинова, 2022).

Терминами, относящимися к общественно-политической сфере, изобиловали речи по делам о так называемых политических преступлениях. Из всех упомянутых нами речей самыми яркими в этом смысле были речи В.Д. Спасовича по «Нечаевскому делу». В них встречаются такие слова и выражения, как *радикал, радикализм, социалист, экономические основания быта, капитал, эксплуататор, прокламация* (в значении *листовки*, а не *торжественное провозглашение*, как у Даля) (Спасович, 2010, с. 272, 274–275), *демократ, нигилист* (адвокат сразу же отмечает, что это слово новое и было введено Тургеневым в романе «Отцы и дети») (Спасович, 2010, с. 289), *буржуазный* (Спасович, 2010, с. 298).

Приведенные нами примеры специальной лексики заставляют вспомнить те тенденции развития литературного языка во второй половине XIX в., которые описал В.В. Виноградов в «Очерках по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.»: это активное использование иностранных слов, относящихся к политике, деловой сфере, естественным и социально-экономическим наукам (Виноградов, 1982, с. 430); семантическая трансформация заимствований, которые, оказавшись на русской почве, обросли новыми значениями (Виноградов, 1982, с. 436); употребление церковнославянизмов (причём здесь можно обнаружить сразу две тенденции: стихийное их использование и ироническое, «вульгаризованное», как писал В.В. Виноградов (Виноградов, 1982, с. 454–455)).

Подводя итог, можно сказать, что наиболее частотные прагматические топосы, которые встречаются в речах рассмотренного периода (описание, повествование, диалог и рассуждение) подразумевали использование лексики,

принадлежащей самым разным дискурсам: от судебного, медицинского и политического до художественного. Адвокаты использовали яркие метафоры и эпитеты, возвышенную и сниженную лексику, элементы бытовой и канцелярской лексики (особенно в тех частях выступлений, где используется серmocинация и воссоздается чужая речь).

Таким образом, необходимость совмещать фактографичность, четкость, научность и юридическую точность формулировок с созданием перед слушателями ярких образов мест, характеров, психологических типов и событий при помощи соответствующих лексических средств и приводила к попыткам (и весьма успешным) сочетать элементы разных дискурсов, что вносило вклад в развитие лексики литературного языка.

### **3.4. Логические топосы и развитие синтаксиса**

Судебная речь, в силу своей прагматики, требует актуализации логических связей. В обычной коммуникации логические операции и посылки аргументов предстают в максимально свернутом виде или же вовсе выражены имплицитно: мы в большинстве случаев уверены, что собеседник нас понимает и может без труда восстановить их по контексту или на основе разделяемых представлений. В судебном дискурсе (и особенно в судебной речи) логические операции приобретали развернутый вид, поскольку перед ораторами стояла задача продемонстрировать всю цепочку умозаключений. Чтобы это сделать, требовалось найти удачные способы развертывания логических операций на уровне организации синтаксиса. Задача существенно осложнялась, во-первых, тем, что аудитория оратора была разнородной и логические операции должны были быть максимально понятны, прозрачны и убедительны для всех (как мы уже писали ранее, в число присяжных могли попасть люди из самых разных сословий и с разным уровнем образования). Во-вторых, логические операции должны были быть удобными для

восприятия: аудитория, слушая живую, линейную речь, насыщенную фактами и описаниями событий, не имела возможности вернуться к сказанному ранее.

Для анализа логических общих мест мы обратимся к построению схем логических операций и синтаксических схем – это позволит получить представление об общих стратегиях реализации топосов на уровне синтаксиса. Структурные схемы будут приводиться нами по номенклатуре «Русской грамматики», изданной в 1980 г. под редакцией Н.Ю. Шведовой (1980).

Логические операции для удобства анализа рассмотрены с позиций бинарной логики, в виде отношений множеств, и будут иметь следующие обозначения<sup>23</sup>:

- 1) ( $\wedge$ ) – конъюнкция (логическое умножение, приближенное по смыслу к союзу «и»);
- 2) ( $\vee$ ) – дизъюнкция (логическое сложение, приближенное по смыслу к союзу «или»);
- 3) ( $\rightarrow$ ) – импликация (логическое следование, близкое по смыслу к сочетанию «если... то»);
- 4) ( $\in$ ) – элемент принадлежит множеству;
- 5) ( $\notin$ ) – элемент не принадлежит множеству;
- 6) ( $\cap$ ) – пересечение множеств;
- 7) ( $\cup$ ) – объединение множеств;
- 8) ( $\sim$ ) – отрицание.

Одним из характерных для судебного дискурса рубежа XIX–XX вв. видов общих мест был топос условия. Он воплощался преимущественно в виде логической операции импликации. На уровне синтаксических построений он мог принимать формы разнообразных риторических фигур, например периода, как это было в речи А.Ф. Кони по делу о Станиславе и

---

<sup>23</sup> Обозначения соответствуют традиционной номенклатуре, принятой в логике и математике (Ивин, 2007; Бобков, 2022).

Эмиле Янсенах и Герминии Акар, обвиняемых во ввозе, изготовлении и обращении в России фальшивых кредитных билетов. Доказывая причастность к преступлению Станислава Янсена, адвокат говорил:

*Если вы признаете, что Янсен [речь идет об Эмиле Янсене. – А. Б.] действительно устроил ввоз бумажек, если вы вспомните рассказ его о Риу, Вернике и Куликове <...>, если вы припомните, что эту печатью <...> были запечатаны фальшивые бумажки, если вы, повторяю, вспомните все это, то вы едва можете не признать, что он не мог сделать этого иначе, как при посредстве своего отца, так как в Петербурге он совершенно чужой, незнакомый (Кони, 1967, с. 104).*

Этот период можно отнести к типу условных, поскольку протазис указывает на необходимость того, о чём говорится в аподозисе (Хазагеров, 2009, с. 207). Отсутствие выраженной паузы между протазисом и аподозисом несколько снижает пафос речи и усиливает логическую сторону высказывания. В виде схемы это представляется как:

$$(1) S \in (A \cap B \cap C) \rightarrow S \in T,$$

т.е., если адресат речи (S) одновременно принадлежит множеству тех, кто признает ввоз Янсеном-младшим билетов (A), помнит его рассказ (B) и помнит о печати (C), то он не может не принадлежать множеству тех, кто признает участие в этом деле его отца (T).

На уровне синтаксиса эта логическая схема реализуется в виде подлежащно-сказуемой двукомпонентной схемы:

$$(1) \text{Если Pron Vf}_{2pl}, \text{если Pron Vf}_{2pl}, \text{если Pron Vf}_{2pl}, \text{если Pron Vf}_{2pl}, \\ \text{то Pron едва ли Vf}_{2pl} \text{ Neg Inf.}$$

Период, усиленный анафорой, играет в речи важную композиционную роль: перечисление условий суммирует то, что было сказано оратором.

А.Ф. Кони объединяет доводы в пользу причастности Станислава Янсена к преступлению, которые приводились ранее в более развернутом виде. Это своего рода рекапитуляция перед тем, как перейти к разбору нового аспекта темы.

Несколько иной вид имеет топос условия в одной из речей Н.П. Карабчевского:

*Господин Минкевич выдвигает несколько судебно-медицинских положений, с которыми мы могли бы охотно согласиться, если бы... если бы самое вскрытие трупа не имело место лишь спустя месяц...* (Карабчевский, 2010, с. 231).

Не проведенная в разумные сроки экспертиза ( $\sim T$ ) не позволяет слушателям (S) войти во множество тех, кто принимает доводы эксперта (A). Тем самым здесь присутствует логическое отрицание:

$$(1) \sim T \rightarrow S \notin A.$$

В виде структурной схемы предложения это может быть представлено как:

$$(1) N_1 Vf_{3s} N_4.$$

$$(2) \text{Pron Vf Inf, если бы...}$$

$$(3) \text{если бы } N_1 \text{ Neg Vf.}$$

Антирезис, отклоняющий неубедительный аргумент обвинителей, дополняется гиподиастолой. Если в предыдущем примере из речи А.Ф. Кони её отсутствие усиливало логическую составляющую и понижало пафос, то здесь Н.П. Карабчевский, напротив, нарочитой паузой добавляет эмоциональной экспрессии своему высказыванию.

Весьма интересен пример топоса условия во фрагменте речи, произнесенной В.Д. Спасовичем по делу Островлевой и Худина:

*Для понятия разбоя, по нашему закону, необходимо, чтобы нападение на личность было переходной ступенью и средством для нападения на имущество. Если эта корыстная цель не направляла ударов на лицо, если нападение не было ради грабежа, тогда деяния раздваиваются и образуют отдельные два преступления... (Спасович, 1913, с. 7–8).*

$$(1) S \in T \rightarrow S \in A.$$

$$(2) S \notin T \rightarrow S \notin A.$$

Совершенное преступление (S) может считаться разбоем (A), если только оно было *средством для нападения на имущество* (T). Поскольку таковым оно не являлось, то и быть определено как разбой оно не может.

В данном случае мы видим пример импликации, которая на уровне синтаксиса может быть представлена следующей схемой:

$$(1) N_2 \text{ Praed, чтобы } N_1 \text{ Vf}_{3s} N_3 \text{ или } N_3 .$$

$$(2) \text{ Если } N_1 \text{ Neg Vf}_{3s} N_4 , \text{ если } N_1 \text{ Neg Vf}_{3s} N_2 , \text{ то } N_{1pl} \text{ Vf}_{3pl} \text{ и } \text{Vf}_{3pl} N_{4pl} \dots$$

Данный фрагмент можно трактовать как анатомию, т.е. анализ предмета или явления по частям с целью прояснить толкование и облегчить дальнейшее ведение дискуссии (Хазагеров, 2009, с. 66). Использование подобной риторической фигуры позволяет оратору показать, что явление может быть классифицировано определенным образом только если выполнен целый ряд условий, только если явление принадлежит одновременно двум множествам.

Примечательно, что приведенный пример также можно трактовать и как логический топос определения. Как показал анализ судебных речей, подобное наложение общих мест одной группы друг на друга не является редкостью. В контексте всей речи это может производить как положительный, так и отрицательный эффект: с одной стороны, подобное соединение общих мест существенно экономит время и позволяет очень ёмко выразить сразу

несколько актуальных для оратора идей; с другой стороны, подобное усложнение может затруднить восприятие речи слушателями, поскольку подразумевает одновременный анализ сразу нескольких аспектов.

Чрезвычайно распространенным в судебных речах видом общих мест был топос места и времени. Как правило, он был тесно связан с описаниями. Примечательна в этом плане речь А.Ф. Кони по делу об убийстве Филиппа Штрама, целиком посвящённая разбору места и времени преступления. В ней есть следующий пример:

*Но если убийство было совершено на чердаке, то <...> надо ли тащить труп на расстояние двух-трёх шагов? Конечно, нет. <...> Быть может, он убит вне квартиры? Но это невозможно, потому что ход на чердак только из квартиры, потому что убить его вне дома и внести его в квартиру было бы небезопасно... (Кони, 1967, с. 161).*

Этот фрагмент можно представить в виде дизъюнкции:

$$(1) S \in A \vee B \vee C;$$

$$(2) \sim A;$$

$$(3) \sim B;$$

$$(4) \text{ следовательно, } S \in C.$$

Последовательный перебор вариантов и их отрицание приводит адвоката к выводу, что убитый (S) не мог быть убит на чердаке ( $\sim A$ ) и не мог быть убит вне квартиры ( $\sim B$ ), поэтому остается только один вариант – Филипп Штрам был убит прямо в квартире ( $S \in C$ ).

С точки зрения синтаксиса это реализуется как:

$$(1) \text{ Inf?}$$

$$(2) \text{ Neg.}$$

$$(3) N_1 \text{ Part}_1 \text{ кратк.ф. } N_{\text{loc}} ?$$

$$(4) \text{ Adj}_{\text{fsn.}}$$

Рассуждение А.Ф. Кони строится на гипотезах: сначала задается вопрос, затем на него сразу же дается ответ. Подобная конструкция позволяет не просто последовательно отбросить варианты, но и сохранить стройность речи и повысить ее когезию (Хазагеров, 2009, с. 207). Подобная стратегия видится эффективной в том случае, когда есть необходимость при большом количестве вариантов или насыщенности текста фактической информацией выстроить сжатое, ясное рассуждение. Кроме того, приведенный фрагмент можно рассматривать как диализис, если трактовать его как тип дивизии, «когда постановка проблемы сопровождается приведением всех альтернатив» (Хазагеров, 2009, с. 69).

Одним из дел, где топос места и времени занимает центральное положение, можно назвать дело об убийстве Сарры Модебадзе. Защитник П.А. Александров в первой части своей речи произнес следующее:

*Необходимо доказать, что похититель и предмет похищения сошлись в одно и то же время в одном и том же месте и находились в такой один от другого близости, чтобы похититель имел возможность овладеть похищаемым предметом. Нет этого условия, – похищение невозможно (Александров, 1957, с. 270).*

В терминах логики этот фрагмент можно связать с примером конъюнкции: и похититель, и жертва должны были оказаться в одном месте, в одно время и должны были находиться близко друг к другу. В виде схемы это можно представить как

$$(1) S \wedge T \in a \wedge b \wedge c,$$

где S – похититель; T – жертва; a – множество тех, кто был в одно время; b – множество тех, кто оказался в одном месте; c – множество тех, кто располагался близко.

В виде структурной схемы синтаксис этого же фрагмента может быть представлен следующим образом:

- (1) Adv-o Inf,
- (2) Neg N2 , – N1 Neg Adv-o.

Особое внимание на синтаксическом уровне обращает на себя использование повтора, который выделяет элементы конъюнкции (*в одно и то же время в одном и том же месте*), а также асиндетон в последнем предложении: пропуск составного союза *если... то* и в целом намного более лаконичное построение последнего предложения сильно контрастируют с распространенным и объемным первым предложением. Всё вместе как бы выдвигает последнее предложение и подчеркивает необходимость выполнения всех перечисленных оратором условий.

Несколько иным образом разворачивался топос места и времени в защитительной речи Н.П. Карабчевского. Доказывая, что И.И. Миронович не мог убить Сарру Беккер, адвокат делает акцент на времени:

*В девять часов была закрыта касса. Свидетели видели, как девочка после этого ходила за провизией в мелочную лавку. Её видели и позднее, около десяти часов <...>. Убийство, стало быть, несомненно, было совершено не ранее одиннадцати часов ночи. В это время И.И. Миронович <...> был уже дома и спал мирным сном* (Карабчевский, 2010, с. 56).

Операция конъюнкции обобщенно может быть представлена так:

- (1)  $S \in (A \wedge B \wedge C)$ ;
- (2)  $T \cup C$ ;
- (3)  $M \notin C$ ;
- (4) следовательно,  $M \notin T$ .

Т.е. Сарра Беккер (S) принадлежит множеству тех, кто бодрствовал в девять (A), десять (B) и одиннадцать часов вечера (C). Множество убийц Сарры (T) должно совпадать с множеством тех, кто бодрствовал в одиннадцать часов (C), когда и было совершено преступление. И.И. Миронович (M) не входил в последнее множество (C), поэтому не мог принадлежать множеству убийц (T).

В виде структурной схемы предложения это может быть представлено как:

- (1) Cop Part.
- (2)  $N_{1pl} Vf_{3pl}$ .
- (3)  $Vf_{3pl}$ .
- (4) Cop Part.
- (5)  $N_1$  Cop  $N_{loc}$  и  $Vf_s$ .

Среди синтактико-логических общих мест, часто встречающихся в судебном дискурсе, следует также отметить определение. Оно оказывается необходимым в тех случаях, когда требуется прояснить суть понятия или четче обозначить его границы. Интересен с этой точки зрения ещё один фрагмент речи Н.П. Карабчевского:

*Если бы это было доказательство, мы могли бы его опровергнуть и, несомненно, опровергли бы <...>. Теперь же вы в праве просто вычеркнуть из своей памяти весь неуместный рассказ господина Львовского (Карабчевский, 2010, с. 245).*

На первый взгляд, этот пример можно трактовать как импликацию, однако, если принять во внимание более широкий контекст речи, можно интерпретировать его и как логическую дизъюнкцию:

- (1)  $S \in A \vee B$ ;
- (2)  $S \in B$ ;

(3)  $S \notin A$ ;

(4) следовательно,  $S \notin C$ .

Информация, озвученная в суде Львовским (S), может быть или реальным доказательством (множество A), или же *болтовнёй* и *негодным балластом* (Карабчевский, 2010, с. 245–246) (множество B). Поскольку Львовский основывался на циркулировавших сплетнях, то его показания попадают во вторую категорию (B), и, раз они не являются доказательством, значит, они не могут быть и опровергнуты (не входят в множество опровержимых вещей C).

Нам пришлось изложить операцию в очень сжатой форме, поскольку этот фрагмент достаточно объёмен. Как показало проведенное ранее исследование, для логических топосов вообще очень характерно расширение до уровня массивных сверхфразовых единств (Бондарева, 2021, с. 160). Как следствие, построение синтаксических схем нередко оказывается затруднительным, поскольку приходится отыскивать на уровне синтаксиса своего рода логическое ядро. В данном случае им служит приведенная нами цитата, которая может быть представлена как:

(1) Если бы Pron Cop N<sub>4</sub> , Pron Vf Inf.

(2) Pron N<sub>2...pr</sub> Inf Adj N<sub>4</sub>.

Мы добавили в схему сочетание *неуместный рассказ* (Adj N<sub>4</sub>), потому что эта, на первый взгляд лишняя для структурной схемы, деталь заключает в себе значимую информацию о том, что рассказ Львовского относится не к множеству доказательств, а к бесполезной для разбора дела информации. Обращение к слушателям служит мягким указанием на необходимость полностью отказаться даже от рассмотрения показаний Львовского.

К логическому топосу определения, вероятно, может быть отнесен и известный фрагмент речи П.А. Александрова по делу Веры Засулич, в котором он определяет месть:

*Месьть обыкновенно руководится личными счетами <...>. Но никаких личных <...> интересов <...> не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым <...>. Месьть стремится нанести возможно больше зла противнику; Засулич <...> сознается, что для неё безразличны были <...> последствия выстрела. Наконец, месьть старается достигнуть удовлетворения возможно дешевою ценою, месьть действует скрытно, с возможно меньшими пожертвованиями. В поступке Засулич <...> нельзя не видеть <...> самого нерасчетливого самопожертвования (Александров, 1957, с. 37–38).*

Этот пример, который лишний раз демонстрирует, что развернутая логическая операция может охватывать значительное пространство текста, представляет собой логическую конъюнкцию:

- (1)  $S \in A \wedge B \wedge C$ ;
- (2)  $T \notin A \wedge B \wedge C$ ;
- (3) следовательно,  $S \notin T$ .

Т.е. мстители (S) должны относиться ко множествам руководствующихся личными счетами (A), желающих причинить как можно больше ущерба противнику (B) и стремящихся отомстить с наименьшими потерями для самих себя (C). Вера Засулич, выстрелившая в Ф.Ф. Трепова, не принадлежала ни к одному из этих множеств, следовательно, её действия нельзя считать мезтью.

На синтаксическом уровне это выражено как:

- (1)  $N_1 \text{ Vf } N_{3pl}$ .
- (2)  $N_{1pl} \text{ Neg Cop}$ .

(3)  $N_1 \text{ Vf Inf}; N_1 \text{ Vf}$ .

(4)  $N_1 \text{ Vf Inf}$ .

(5)  $\text{Neg Inf}$ .

В данном случае можно говорить о присутствии такой фигуры, как анафора: повтор слова *месть* с прибавлением характеристик этого явления позволяет оратору одновременно прояснить понятие и последовательно опровергнуть наличие признаков *мести* в действиях Веры Засулич.

Ещё одним примером топоса определения можно считать небольшой фрагмент речи В.Д. Спасовича, произнесенной по делу Кронеберга:

*В классическом по предмету повреждений решении <...> департамента сказано, что характеристическая черта тяжких телесных повреждений заключается в том, что такие повреждения причиняют болезнь <...>. Спрашивается, имеется ли этот признак в настоящем случае? Нет, его вовсе не было <...> (Спасович, 1894, с. 63).*

В виде логической схемы это будет иметь следующий вид:

(1)  $S \in T \rightarrow S \in A$

(2)  $S \notin T \rightarrow S \notin A,$

где  $S$  – телесные повреждения;  $A$  – множество тяжких повреждений, а  $T$  – множество повреждений, вызывающих болезнь. Логическая операция импликации показывает, что повреждения потерпевший не могут быть классифицированы как тяжкие именно потому, что они не попадают под соответствующее определение, т.е. не относятся к повреждениям, вызывающим болезнь.

На уровне синтаксиса этот фрагмент может быть представлен следующим образом:

(1)  $N_6 \text{ Praed}$ , что  $\text{Adj } N_1 \text{ Vf}$  в том, что  $N_{1pl} \text{ Vf}_{3pl} N_4$ .

(2)  $\forall f N_4 ?$

(3)  $N_2 \text{Neg } \forall f.$

Существенную роль здесь играет гипопофора: задавая вопрос и тут же отвечая на него, оратор подчеркивает, что повреждения не могут быть классифицированы как тяжкие, подводит некий итог разбору определения.

Не менее распространенным для судебного дискурса является топос рода и вида, который играет существенную роль в классификации явлений и событий, связанных с делом. Им, например, воспользовался Н.П. Карабчевский в речи в защиту И.И. Мироновича, определяя место судебной медицины в системе наук:

*Мы знаем, что это [судебная медицина – А. Б.] за наука. Собственно говоря, такой науки нет в смысле накопления самостоятельных научных формул, данных и положений, это лишь прикладная отрасль обширной медицинской науки со всеми её специальными извилинами и деталями (Карабчевский, 2010, с. 50).*

В виде логической схемы это можно представить как последовательность:

(1)  $S \in A;$

(2)  $T \in A;$

(3) следовательно,  $T \in S;$

(2)  $M \notin A;$

(3) следовательно,  $M \notin S.$

Самостоятельная наука (S) принадлежит множеству явлений, связанных с самостоятельным накоплением знаний (A). Медицина (T) накапливает знания ( $T \in A$ ), следовательно, она принадлежит множеству самостоятельных наук ( $T \in S$ ). Судебная медицина (M) же не накапливает данные ( $M \notin A$ ), а пользуется данными медицины, следовательно, она не может считаться

отдельной, независимой наукой ( $M \notin S$ ). Таким образом, этот пример можно рассматривать как логическое отрицание – оратором отрицается принадлежность судебной медицины к кругу самостоятельных наук.

На синтаксическом уровне это выражено как:

(1)  $\text{Pron Vf}_{2\text{pl}}$ .

(2) Нет  $N_2$ ,  $\text{Pron N}_4$ .

Вероятно, этот пример можно трактовать как воплощение одной из разновидностей риторической анатомии – дигестии, которая связана с последовательным рассмотрением чего-либо или же анализом предмета по пунктам, что позволяет прояснить толкование и облегчить дискуссию (Хазагеров, 2009, с. 66).

Топос рода и вида, в основе которого лежит логическая дизъюнкция, можно обнаружить в защитительной речи Н.П. Карабчевского по делу Мироновича:

*Так пишут только пережившие событие или гениальные художники. Госпожа Семёнова далеко не художница; когда она о чём-то измышляет, измышления не блещут ни оригинальностью, ни интересом. Зато когда с беззастенчивостью психопатки, которой «не стыдно и никого не жаль», она рассказывает о себе всю правду, её можно заслушаться (Карабчевский, 2010, с. 60).*

Данный фрагмент, в котором сначала перечисляются альтернативы, а затем одна из альтернатив отрицается и выносится заключение, относится к отрицающе-утверждающему модусу:

(1)  $a \vee b$ ,

(2)  $S \notin a$ ,

(3) следовательно,  $S \in b$ ,

где  $a$  – множество художников,  $b$  – множество переживших события,  $S$  – референт речи.

Может показаться, что разделительная посылка в данном случае ложная, так как в ней перечислены не все возможные альтернативы, а приведенные варианты слишком необычны, чтобы стать полноценной основой для разделительно-категориального суждения. Здесь мы снова сталкиваемся с уже упомянутой особенностью синтактико-логических топосов: довольно часто они охватывают объемные сверхфразовые единства, без анализа которых достаточно сложно описать отдельные логические общие места. Приведенный нами фрагмент предваряется психологической характеристикой Семёновой и указанием адвоката на тот факт, что её показания на удивление точно следуют материалам предварительного следствия. Так подробно, точно и ярко, говорит оратор, описать события может или человек, обладающим художественным талантом или же человек, который сам был участником событий. Приведенная ранее характеристика Семеновой показала, что она не была *художницей*, а потому является участницей событий.

Как мы выяснили ранее (Бондарева, 2021), в подобной ситуации, когда приходится анализировать достаточно объёмные фрагменты, можно выделить своего рода логическое ядро, которым (в данном случае) будет приведенная нами цитаты из речи Н.П. Карабчевского, которую можно представить в виде следующей структурной схемы:

(1) V3pl N1pl или N1pl,

(2) N1 Neg N1,

(3) N1 Vf.

Бинарная дизъюнкция позволяет рассматривать данный фрагмент как антитезу – риторическую фигуру, построенную на основе «подчеркнутого утверждения одного явления путем отрицания другого» (Хазагеров, 2009,

с. 153), которая на синтаксическом уровне выражена посредством двухкомпонентного предложения с двумя однородными подлежащими.

Топос рода и вида также приводит В.Д. Спасович в речи по делу Островлевой и Худина, разбирая природу психопатических состояний:

*Болезни «души» обусловлены недостатками и болезнями той части тела, которая служит органом сознания и мышления, то есть мозга, а так как мозг есть средоточие нервной системы, то хотя не всякое нервное или мозговое страдание есть душевная болезнь, но все душевные болезни суть вместе с тем болезни нервные и мозговые <...> (Спасович, 1913, с. 11).*

В виде логической схемы это может быть представлено как:

$$(1) S \in A \wedge B.$$

Т.е. душевные болезни (S) принадлежат ко множеству болезней нервной системы (A) и мозга (B). Тем самым здесь имеет место логическая конъюнкция, которая на синтаксическом уровне представлена в виде схемы:

$$(1) N_{1pl} Vf, \text{ так как } N_1 \text{ Cop } N_4, \text{ то } N_{1pl} \text{ Cop } N_{4pl} Adj^1 \text{ и } Adj^1.$$

Можно предположить, что в данном случае, как и в приведенном нами выше примере из речи Н.П. Карабчевского, топос рода и вида строится на основе риторической анатомии, которая позволяет прояснить явление, а также на дефиниции, т.к. В.Д. Спасович дает определение душевным болезням.

Анализ синтаксических общих мест в судебных речах показывает, что, несмотря на ограниченное число логических операций, их выражение на синтаксическом уровне обладает большой вариативностью.

Наиболее часто в основе синтаксических топосов оказываются дизъюнкция и импликация, что обусловлено коммуникативными задачами, стоящими перед судебным оратором: в первом случае речь идет о

перечислении альтернатив и возможных вариантов, которые затем, как правило, исключаются до тех пор, пока не останется один наиболее вероятный и убедительный вариант; во втором случае речь идет о необходимости выполнения определённых условий для наступления конкретного результата, т.е. причинно-следственных связях, анализ которых играет огромную роль в анализе обстоятельств любого дела, рассматриваемого в суде.

Анализ материала также показывает, что в подавляющем большинстве случаев логические общие места могут быть соотнесены с конкретными риторическими фигурами. Можно предположить, что для каждого вида топосов этого типа характерен определенный набор фигур, которые наиболее удачно эксплицируют логические связи на уровне синтаксиса, однако этот вопрос требует более детальной проработки и может рассматриваться как перспективный для дальнейших исследований.

## **Выводы**

Топосы – ключевой элемент риторической инвенции и риторики в целом. Для каждого вида текста, функционирующего в том или ином дискурсе, характерны определенные способы развертывания мысли.

Взяв за основу концепцию, согласно которой общие места могут быть разделены на три группы, мы на примере речей русских адвокатов рубежа XIX–XX вв. рассмотрели, как топосы каждой группы оказывали влияние на развитие литературного языка.

Семантические общие места, связанные с привнесением в речь новой темы, были посвящены развитию прогрессивных идей, которые не получили на тот момент достаточного распространения в обществе. В своих речах судебные ораторы, прибегая к метафорам, отсылкам к христианским текстам, произведениям художественному литературы, отсылкам к науке и истории, полемизировали с устоявшимися стереотипами и предрассудками о других

народах; со сложившимся в сознании общества и отразившимся в фольклоре представлением о суде как институте, который построен на произволе и коррупции.

Прагматические топосы, такие как описание, повествование, рассуждение и диалог, требовали творческого осмысления от оратора, которому следовало выйти за рамки сухого перечисления фактов и создать яркую картину произошедшего, которая позволяла бы слушателям ясно увидеть материальную и метафизическую сторону дела. Необходимость описывать место преступления и психологическое состояние обвиняемого ставили перед судебным оратором задачи, сходные с теми, которые решали писатели-реалисты. Некоторые диалоги, создаваемые ораторами, по своей выразительности и эмоциональности не уступали драматическим произведениям.

Синтаксические места, несмотря на то что они связаны с универсальными логическими операциями, которые не имеют национальной специфики и никогда не выходят из моды, т.к. являются совершенно необходимыми для построения любой речи, способствовали развитию синтаксиса, поскольку в рамках судебной речи ораторы должны были подробно и убедительно представить логические операции.

Разбор примеров логических топосов показывает, что актуализация логических связей в судебном дискурсе требует развернутых построений, подробного разбора и классификации явлений, прояснения их толкований, что позволяет сделать речь ясной и убедительной, а логику, которая нередко обнаруживает тесное соседство с пафосом, понятной для аудитории. Разнообразие синтаксических схем показывает, что ораторы конца XIX – начала XX вв. активно задействовали ресурсы языка, искали наиболее подходящий для своих коммуникативных целей способ выражения логических связей, тем самым приспособив синтаксис литературного языка для сложных логических построений.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что при изучении вопросов развития языка целесообразно обращаться к понятию «литературный язык», а не «языковой стандарт», которое получило в последнее время большое распространение. При всем многообразии определений и трактовок понятия «литературный язык» исследователи сходятся во мнении, что он не просто служит средством наддиалектного общения, а представляет собой развитую систему взаимообусловленных единиц, главная цель которой – во всей полноте отразить окружающую действительность и переживаемый человеком опыт.

Литературный язык нормирован, однако эта норма по своей сути далека от свода непоколебимых правил: будучи полифункциональным образованием со сложной структурой, литературный язык обладает гибкой стабильностью, которая позволяет ему приспосабливаться к действительности и новым задачам, т.е. он обладает потенциалом для дальнейшего развития. Именно эта деталь отличает понятие «литературный язык» от «языкового стандарта» – последний ориентирован на строгую норму, на нейтральное употребление и больше подходит для сфер, связанных с обучением языку.

Литературный язык находится в постоянном движении и развитии, он постоянно обогащается, причём, как весьма убедительно показали исследования второй половины XX вв., развитию способствует деятельность не только лингвистов, но и всех членов языкового сообщества.

Развитие литературного языка – сложный процесс, на который оказывает влияние целый ряд факторов, в том числе изменения в жизни общества; деятельность писателей и поэтов, чей поэтический язык подразумевает максимальную актуализацию языковых средств и их необычное использование, что зачастую становится деформацией литературного языка. Значительную роль в развитии, как показывают работы учёных последних лет, играет столкновение дискурсов, в результате которого возникают гибридные формы.

В результате исследования было выявлено, что продуктивными с точки зрения обогащения литературного языка являются, в первую очередь, полемические жанры риторики, в частности судебное красноречие. В отличие от неполемических (эпидейктических) жанров, они подразумевают реальный диалог, наличие оппонента, на аргументы и доводы которого необходимо отвечать. Это заставляет участников риторической ситуации развивать идеи, искать средства выражения собственных мыслей, которые бы способствовали достижению коммуникативных целей.

Судебное красноречие, возникшее в России после реформы 1864 г., является ярким примером того, как изменения в окружающей действительности и возникновение нового института (в данном случае – суда присяжных и адвокатуры) привели к развитию полемического жанра риторики, в рамках которого произошло столкновение дискурсов и возникла необходимость поисков таких языковых средств, которые помогали бы ораторам решать стоящие перед ними задачи.

После реформы 1864 г. судебный дискурс претерпел кардинальные трансформации, поскольку изменилась его прагматика. Теперь перед защитниками и обвинителями стояла необходимость в условиях открытого и гласного суда убедить присяжных заседателей, которые происходили из самых разных сословий, в виновности или невиновности подсудимого. (До реформы 1864 г. судебное производство было письменным и тайным, в нем царил формализм и совершенно не было места для полемики; все документы и записки представляли собой образцы внутриведомственной переписки, единственной целью которой было максимально коротко изложить суть того или иного вопроса). Опыт западных коллег далеко не всегда был применим на русской почве, а потому адвокаты и прокуроры обратились к реалистической литературе как источнику приемов и языковых средств.

Как показал анализ вопроса, подобный выбор был обусловлен, во-первых, литературоцентричностью русского общества конца XIX – начала XX вв. Во-вторых, многие адвокаты пореформенного периода, которые стали

яркими судебными ораторами, получили признание и чьи речи стали эталоном для последующих поколений защитников и обвинителей, сами занимались литературой и литературной критикой, причём, согласно воспоминаниям современников, делали это весьма успешно. Наконец, в-третьих, сама специфика реалистической русской литературы с её глубоким психологизмом, этическими установками и попыткой пристального анализа общественных, политических и социальных проблем делала её источником полезных наблюдений. Об этом писали сами адвокаты в своих воспоминаниях и очерках, а также авторы аналитических работ по истории русского судебного красноречия, которые ещё в начале XX в. обратили внимание на данную деталь.

Художественная литература смогла стать источником интересных находок для судебных ораторов благодаря способности быть диалогичной, включать в себя ценные диалогические текстовые структуры, соединяющие сегменты с разными точками зрения, а также благодаря способности вбирать в себя элементы самых разных дискурсов.

Несмотря на то, что судебные ораторы постоянно обращались к художественной литературе, сами писатели далеко не всегда положительно оценивали работу адвокатов и сам суд присяжных. Критически относился к нему Ф.М. Достоевский, который не одобрял точку зрения, что к преступлению человека подталкивает среда, считал её противоречащей христианству и ставил внутренний суд выше суда «механического». В своих произведениях и очерках писатель неоднократно пародировал риторические приёмы адвокатов, которых изображал сатирически. Негативно к институту относился и Л.Н. Толстой, видевший в новой системе нарушение принципа непротивления злу и заповеди «не суди». М.Е. Салтыков-Щедрин и А.П. Чехов в своих текстах указывали на недостатки суда присяжных и адвокатуры, которые мешали им выполнять свои функции, однако они не отрицали сам институт. Poleмика, которая разворачивалась вокруг

судебной риторики, нередко касалась общих мест, которые использовали защитники в своих речах.

Изучение теории общих мест (топосов) показало, что за более чем две тысячи лет так и не было выработано единой их классификации, а потому, пользуясь известной свободой, мы в рамках данной диссертации взяли за основу подход, согласно которому общие места можно разделить на семантические, прагматические и синтактические. Именно с точки зрения этой трёхчастной классификации был проанализирован материал, представляющий собой двадцать судебных речей, произнесенных адвокатами перед судом присяжных на рубеже XIX–XX вв.

В ходе исследования было выявлено, что семантические топосы, позволяющие оратору привнести в речь новую тему, подчеркнуть важный её аспект или показать нужные качества предмета, реализуются посредством использования пословиц и поговорок, антономазий, устойчивых метафор, сравнений, отсылок к историческим событиям и персоналиям. В проанализированных нами судебных речах семантические топосы позволяли адвокатам полемизировать с идеями, распространенными в обществе, и бороться с устоявшимися представлениями и стереотипами. В первую очередь, это были стереотипы, связанные с правосудием: продвигаемые судебными ораторами идеи о том, что суд – место установления истины, где дела рассматриваются с позиций непротиворечивых, логически чётких доказательств и с позиций науки, а решения принимаются справедливыми присяжными, были абсолютно противоположны сложившимся в русской культуре на протяжении веков представлениям о суде как институте, который основан на бесправии, коррупции и произвольной трактовке закона.

Активно боролись адвокаты конца XIX – начала XX вв. с этническими стереотипами: семантические топосы, отсылающие к истории христианства и религиозным текстам, позволяли ораторам пересмотреть старые представления о нехристианских народах России. Таким образом,

семантические топосы позволяли ораторам развивать новые идеи, для которых требовались соответствующие средства выражения.

Прагматические топосы, связанные с коммуникативными намерениями и воплощающиеся в речевых жанрах, представлены в судебных речах рубежа XIX–XX вв. преимущественно в описаниях, рассуждениях, повествованиях, а также диалогах – в целом ряде речей были выявлены сермоцинации, т.е. имитация чужой речи, которая несла на себе отпечаток стилизации и позволяла оратору более ярко обрисовать характер и социальное положение фигурантов дела. Необходимость нарисовать яркую картину места и времени преступления, обстановки, убедительно изобразить психологические состояния и характеры фигурантов дел заставляла оратора искать соответствующие средства изобразительности на лексическом уровне, прибегать к стилизациям и активно задействовать элементы, находящиеся за пределами литературного языка. Интересен в этом смысле топос описания, воплотившийся в многочисленных графиях. До установления суда присяжных судебный дискурс был очевидно чужд подобным явлениям. В новом же суде яркие описания были не просто данью красноречию и способом создать у слушателей определенное настроение: ораторам из чисто практических соображений приходилось прибегать к весьма сложным описаниям обстановки, места и времени преступления. Необходимость изложить последовательность событий, нарисовать картину преступления, место и время его совершения, а также подробно описать психологические особенности обвиняемых заставляла судебных ораторов обращаться к художественному дискурсу, который служил источником средств изобразительности и эмоционально окрашенной лексики. Именно прагматические топосы в судебных речах вбирают в себя разнообразие лексики, относящейся к самым разным дискурсам и находящейся за пределами литературного языка.

Синтаксические топосы, связанные с логическими операциями, нацелены на актуализацию логических связей, которые в условиях обычной

коммуникации, как правило, выражены имплицитно. Необходимость ясно и развернуто обрисовывать разнородной аудитории родо-видовые отношения, причины и следствия, последовательно перебирать и отбрасывать варианты, удовлетворяющие или не удовлетворяющие условиям, приводила к необходимости искать подходящие синтаксические формы. Число логических операций очень ограничено, однако анализ материала с использованием синтаксических и логических схем показал, что их выражение на уровне синтаксиса характеризуется высокой вариативностью. Кроме того, логические операции на уровне синтаксиса имеют тенденцию воплощаться в конкретных риторических фигурах.

Исследование показало, что выявленные в рамках анализа судебных речей рубежа XIX–XX вв. и реализующихся в них риторических топосов процессы соотносятся с теми процессами, которые описаны лингвистами XX–XXI вв. как факторы развития литературного языка.

Таким образом, можно сказать, что судебное красноречие, будучи полемическим жанром риторики, который подразумевает реальный диалог и вбирает в себя элементы разных дискурсов, способствует развитию синтаксиса, лексики и семантики литературного языка в целом.

Перспектива данной работы связана с возможностью применения предложенной модели для изучения влияния разнообразных риторических жанров на развитие литературного языка, что представляется чрезвычайно важным с точки зрения понимания процессов, лежащих в основе их обогащения и культивирования, а также позволяет анализировать текущую языковую ситуацию и выстраивать возможные стратегии её улучшения. Результаты, полученные в рамках данной работы, также могут применяться для решения чисто практических задач в условиях современного суда присяжных.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г. Языковой стандарт / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин // Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009. – С. 365.
2. Акишин М. О. Государственный и юридический языки Российской империи XIX века / М. О. Акишин // Genesis: исторические исследования. – 2016. – № 5. – С. 56–73.
3. Александров П. А. Дело Засулич / П. А. Александров // Судебные речи известных русских юристов. Сборник / ред. М. М. Выдря. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С. 23–42.
4. Александров П. А. Дело Сарры Модебадзе / П. А. Александров // Судебные речи известных русских юристов. Сборник / ред. М. М. Выдря. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С. 77–119.
5. Алексеев А. А. Очерки и этюды по истории литературного языка в России / А. А. Алексеев. – Санкт-Петербург: Петербургское лингвистическое общество, 2013. – 476 с.
6. Алташина В. Д. Диалог и диалогизм в романах Кребийона-сына / В.Д. Алташина // Studia Litterarum. – 2016. – № 1–2. – С. 140–152.
7. Андреевский С. А. Защитительные речи / С. А. Андреевский. – Санкт-Петербург: Типография А. С. Суворина, 1891. – 293 с.
8. Андреевский С. А. Литературные очерки / С. А. Андреевский. – 3-е доп. изд. «Литературных чтений». – Санкт-Петербург: Типография А. Е. Колпинского, 1902. – 498 с.
9. Андреевский С. А. Об уголовной защите / С. А. Андреевский // Избранные труды и речи / С. А. Андреевский. – Тула: Автограф, 2000. – С. 285–312.

10. Андреевский С. А. Стихотворения (1878–1885) / С. А. Андреевский. – Санкт-Петербург: Типография А. С. Суворина, 1886. – 286 с.
11. Аннушкин В. И. Русская риторика: исторический аспект / В. И. Аннушкин. – Москва: Высшая школа, 2003. – 396 с.
12. Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 320 с.
13. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В. Н. Ярцев. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 136–137.
14. Ассуирова Л. В. Топосы как риторические категории и структурно-смысловые модели порождения высказывания: автореф. дис. ...д.п.н.: 13.00.02 / Ассуирова Лариса Владимировна; науч. конс. З. С. Смелкова; Московский педагогический государственный ун-т. – Москва, 2003. – 37 с.
15. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 2-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 605 с.
16. Бархударов С. Г. Г. О. Винокур / С. Г. Бархударов // Избранные работы по русскому языку / Г. О. Винокур. – Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959. – С. 3–10.
17. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – Москва: Эксмо, 2017. – С. 106–282.
18. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – Москва: Художественная литература, 1986. – С. 428–472.
19. Бирюков П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Т. 2 / П. И. Бирюков. – Берлин: Издательство И. П. Ладыжникова, 1921. – 675 с.
20. Бобков Н. Н. Математический анализ. Лекции кафедры математики НФ ГУ ВШЭ / Н. Н. Бобков // НИУ ВШЭ: [сайт]. –

URL: <https://www.hse.ru/data/2010/10/25/1222762992/Лекция%2001.pdf> (дата обращения: 04.04.2022).

21. Бондарева А. А. Литературный язык vs языковой стандарт / А. А. Бондарева // Актуальные проблемы стилистики. – 2020. – № 6. – С. 115–121.
22. Бондарева А. А. О риторическом потенциале дихотомии «свой-чужой» / А. А. Бондарева // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2019. – № 3 (Т. 29). – С. 471–476.
23. Бондарева А. А. Синтаксическое выражение логических топосов (на материале речей русских адвокатов второй половины XIX – начала XX века) / А. А. Бондарева // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2021. – № 2 (Т. 19). – С. 157–165.
24. Борботько В. Г. Элементы теории дискурса / В. Г. Борботько. – Грозный: Издательство Чечено-Ингушского университета, 1981. – 112 с.
25. Бочкарев В. Н. Дореформенный суд / В. Н. Бочкарев // Судебная реформа / ред. Н. В. Давыдов и Н. Н. Полянский. – Москва: Книгоиздательство «Объединение», 1915. – С. 205–241.
26. Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. Т. XVA / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1895. – 960 с.
27. Будагов Р. А. «Французская стилистика» Шарля Балли / Р. А. Будагов // Французская стилистика / Ш. Балли. – Москва: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 5–16.
28. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили / Р. А. Будагов. – Москва: Высшая школа, 1967. – 375 с.
29. Будде Е. Ф. Лекции по истории русского языка / Е. Ф. Будде. – Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1907. – 253 с.
30. Будде Е. Ф. Очерк истории современного литературного русского языка (XVII–XIX вв.) / Е. Ф. Будде. – Москва: URSS, 2005. – 144 с.

31. Бушмин А. С. М. Е. Салтыков-Щедрин / А. С. Бушмин // История русской литературы. В 4 т. Т. 3 / ред. Н. И. Пруцков. – Ленинград: Наука, 1982. – С. 653–694.
32. Васьковский Е. В. Организация адвокатуры. Очерк всеобщей истории адвокатуры. Ч. 1–2 / Е. В. Васьковский. – Санкт-Петербург: Типография П. П. Сойкина, 1893. – 396 с.
33. Венгерова З. А. Парижский архив А. И. Урусова / З. А. Венгерова // Литературное наследство. Т. 33–34 / АН СССР – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1938. – С. 591–616.
34. Веселитский В. В. Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка / В. В. Веселитский. – Москва: Наука, 1974. – 68 с.
35. Вестник Европы: [сайт]. – URL: <http://starieknigi.info/index/VE.htm> (дата обращения: 15.09. 2021).
36. Виноградов В. В. Вопросы образования русского национального литературного языка / В. В. Виноградов // Избранные труды. История русского литературного языка / В.В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 178–201.
37. Виноградов В. В. Литературный язык / В. В. Виноградов // Избранные труды. История русского литературного языка / В.В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 288–297.
38. Виноградов В. В. О задачах русского литературного языка преимущественно XVII–XIX вв. / В. В. Виноградов // Избранные труды. История русского литературного языка / В.В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 152–177.
39. Виноградов В. В. Основные этапы развития русского языка / В. В. Виноградов // Избранные труды. История русского литературного языка / В. В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 10–49.

40. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. / В. В. Виноградов. – Москва: Высшая школа, 1982. – 528 с.
41. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики / В. В. Виноградов. – Москва: Высшая школа, 1981. – 320 с.
42. Виноградов В. В. Проф. Л. П. Якубинский как лингвист и его «История Древнерусского языка» / В.В. Виноградов // История древнерусского языка / Л. П. Якубинский. – Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1953. – С. 3–40.
43. Виноградов В. В. Роль художественной литературы в процессе формирования и нормирования русского национального литературного языка до конца 30-х гг. XIX в. Приложение публикации ответов на анкету / В. В. Виноградов // Избранные труды. История русского литературного языка / В. В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 202–205.
44. Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка / В. В. Виноградов. – Москва; Ленинград: Academia, 1935. – 457 с.
45. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку / Г. О. Винокур. – Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959. – 492 с.
46. Винокур Г.О. Язык типографии / Г. О. Винокур // Культура языка / Г. О. Винокур. – Москва: Федерация, 1929. – С. 218–236.
47. Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т. Г. Винокур. – Москва: Наука, 1980. – 237 с.
48. Волгин И. Л. Последний год Достоевского: исторические записки / И. Л. Волгин. – Москва: АСТ: Зебра Е, 2010. – 736 с.
49. Волков А. А. Курс русской риторики / А. А. Волков. – Москва: Издательство храма св. муч. Титианы, 2001. – 480 с.

50. Воркачев С. Г. Дискурс и его типология в российской лингвистике / С. Г. Воркачев, Е. А. Воркачева // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2019. – № 3. – С. 14–21.
51. Ворт Д. Существовал ли литературный язык в Киевской Руси? / Д. Ворт // Очерки по русской филологии (статьи 1963–1992 гг.) / Д. Ворт. – Москва: Индрик, 2006. – С. 137–148.
52. Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура / Б. Гавранек // Пражский лингвистический кружок / ред. Н. А. Кондрашов. – Москва: Прогресс, 1967. – С. 338–377.
53. Гаспаров М. Л. Общие места / М. Л. Гаспаров // Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – Москва: Советская энциклопедия, 1987. С. 257.
54. Герцен А. И. Дело крестьянки Волоховой / А. И. Герцен // Собрание сочинений. В 30 т. Т. 19 / А. И. Герцен, АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1960. – 569 с.
55. Гессен И. В. История русской адвокатуры. Адвокатура, общество и государство (1864–1914). Т. 1 / И. В. Гессен. – Москва: Издание Советов Присяжных Поверенных, 1914. – 623 с.
56. Гессен И. В. Судебная реформа / И. В. Гессен. – Санкт-Петербург: Типо-литография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – 267 с.
57. Глинский Б. Б. Русское судебное красноречие / Б.Б. Глинский. – Санкт-Петербург: Типо-литография Н. Евстифеева, 1897. – 106 с.
58. Глухих Н. В. История русского литературного языка. Учебное пособие / Н. В. Глухих, А. А. Миронова. – Челябинск: Издательство Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2007. – 159 с.
59. Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого / А. Б. Гольденвейзер. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 486 с.

60. Горшков А. И. Литературный язык и литература. Сборник статей / А. И. Горшков. – Москва: Издательство литературного института им. А. М. Горького, 2007. – 191 с.
61. Грицанов А. А. Постмодернизм. Энциклопедия / А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Минск: Книжный дом, 2001. – URL: [https://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks.php](https://www.gumer.info/bogoslov_Buks.php) (дата обращения: 7.02.2022).
62. Гроссман Л. П. Достоевский–реакционер / Л. П. Достоевский. – Москва: Common Place, 2015. – 140 с.
63. Гухман М. М. Литературный язык / М. М. Гухман // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / ред. Б. А. Серебренников. – Москва: Наука, 1970. – С. 502–548.
64. Давыдов Н. В. Введение // Судебная реформа / ред. Н. В. Давыдов, Н. Н. Полянский. – Москва: Книгоиздательство «Объединение», 1915. – С. III–XIII.
65. Даль В. И. Пословицы русского народа в двух томах / В. И. Даль. – Москва: Художественная литература, 1989. – 431 с.
66. Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ / Г. А. Джаншиев. – Санкт-Петербург: Типо-литография Б. М. Вольфа, 1905. – 859 с.
67. Достоевская А. Г. Воспоминания / А. Г. Достоевская. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 462 с.
68. Достоевский Ф. М. Бесы / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 10 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1974. – 518 с.
69. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 1–17 / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 14 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1976. – 510 с.
70. Достоевский Ф. М. По поводу дела Кронеберга / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 22. / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1981. – С. 50–52.

71. Достоевский Ф. М. Подросток / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 13 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1975. – 451 с.
72. Достоевский Ф. М. Речь г-на Спасовича. Ловкие приемы / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 22 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1981. – С. 57–63.
73. Достоевский Ф. М. Среда. Дневник писателя 1873 г. / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 21 / Ф. М. Достоевский. – Ленинград: Наука, 1980. – С. 13–23.
74. Дубровская Т. В. Речевые жанры «осуждение» и «обвинение» в русской и английской лингвокультурах / Т. В. Дубровская. – Пенза: Издательство ПГУ, 2014. – 272 с.
75. Дурново Н. Н. Избранные работы по истории русского языка / Н. Н. Дурново. – Москва: Языки славянской культуры, 2000. – 811 с.
76. Дюркгейм Э. Метод социологии / Э. Дюркгейм. – Киев; Харьков: Южно-Русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона, 1889. – 153 с.
77. Егоров О. Г. Общество и право в литературном наследии М. Е. Салтыкова-Щедрина / О. Г. Егоров // Общество и право. – 2012. – № 3 (40). – С. 282–288.
78. Едличка А. О Пражской теории литературного языка / А. Едличка // Пражский лингвистический кружок / ред. Н. А. Кондрашов. – Москва: Прогресс, 1967. – С. 544–556.
79. Ефимов А. И. История русского литературного языка / А. И. Ефимов. – Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961. – 322 с.
80. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. – Москва: Пилигрим, 2010. – 486 с.
81. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты / В. М. Жирмунский. – Ленинград: Художественная литература, 1926. – 297 с.

82. Журавлев В. К. Замечание о предмете истории литературного языка / В. К. Журавлев, И. В. Журавлев // Очерк истории современного литературного русского языка (XVII–XIX вв.) / Е. Ф. Будде. – Москва: URSS, 2005. – С. III–VIII.
83. Зелинский Ф. Художественная проза и ее судьба / Ф. Зелинский // Из жизни идей / Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1908. – С. 222–284.
84. Иванюков И. И. Падение крепостного права в России / И. И. Иванюков. – Москва: Книжные магазины Н. И. Мамонтова, 1882. – 404 с.
85. Ивин А. А. Логика / А. А. Ивин. – Москва: Гардарики, 2007. – 352 с.
86. Казанцев С. М. «Судебная республика» царской России / С. М. Казанцев // Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864–1917 гг. / сост. С.М. Казанцев. – Санкт-Петербург: Лениздат, 1991. – С. 3–19.
87. Камчатнов А. М. История русского литературного языка. XI – первая половина XIX века: Учебное пособие для студентов филологических факультетов высших педагогических учебных заведений / А. М. Камчатнов // Academia.edu: [сайт]. – 2015. – URL : <https://www.academia.edu/11926587...> (дата обращения: 12.08.2021).
88. Карабчевский Н. П. Речь в защиту Бейлиса / Н. П. Карабчевский // Судебные речи / Н. П. Карабчевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 478–514.
89. Карабчевский Н. П. Речь в защиту И.И. Мироновича / Н. П. Карабчевский // Судебные речи / Н. П. Карабчевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 40–62.
90. Карабчевский Н. П. Речь в защиту мултанских вотяков / Н. П. Карабчевский // Судебные речи / Н. П. Карабчевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 219–277.

91. Карабчевский Н. П. Современная французская адвокатура и новая школа судебного красноречия. (По поводу книги Léon Cléry “Souvenirs du Palais”) / Карабчевский Н.П. // Около правосудия. Статьи, сообщения и судебные очерки / Н. П. Карабчевский. – Санкт-Петербург: Типография Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дела «Труд», 1902. – С. 1–41.
92. Карабчевский Н. П. Французский адвокат XVIII-го столетия / Н. П. Карабчевский // Около правосудия. Статьи, сообщения и судебные очерки / Н. П. Карабчевский. – Санкт-Петербург: Типография Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дела «Труд», 1902. – С. 42–86.
93. Карасик В. И. Дискурсология в лингвокультурологической перспективе. Доклад, прочитанный 27.03.2018 в Институте Русского языка им. А. С. Пушкина / В. И. Карасик // Институт Русского языка им. А. С. Пушкина: [сайт]. – 2018. – URL: <https://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=15579> (дата обращения: 18.08.2021).
94. Караулов Ю. Н. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса / Ю. Н. Караулов, В. В. Петров // Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – Москва: Прогресс, 1989. – С. 5–11.
95. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) / А. Е. Кибрик. – Москва: МГУ, 1992.– 336 с.
96. Кирпичников А. И. Князь А.И. Урусов / А. И. Кирпичников // Князь А.И. Урусов. Статьи его о театре, о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания о нем: А. А. Андреевой, К. К. Арсеньева, К. Д. Бальмонта и др. Т. 2–3. Москва: Типография «И.Н. Холчев и К°», 1907. – С. 117–128.
97. Клушина Н. И. От стиля к дискурсу: новый поворот в лингвистике / Н. И. Клушина // Язык, коммуникация и социальная среда: Ежегодное научное издание. Вып. 9 / ред. В.Б. Кашкин. – Воронеж: Воронежский государственный университет; Наука-Юнипресс, 2011. – С. 25–33.

98. Ковалева Д. Н. Николай Платонович Карабчевский (1851–1925). жизнь, творчество, личность : автореф. дис. ...канд. историч. наук : 07.00.02 / Ковалева Дарья Николаевна ; науч. рук. Н. А. Троицкий ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 2010. – 23 с.
99. Ковалевская Е. Г. Избранное. 1963–1999 / Е. Г. Ковалевская, ред. К. Э. Штайн. – Санкт-Петербург; Ставрополь: Издательство СГУ, 2012. – 687 с.
100. Кожина М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – Москва: Флинта, 2008. – 464 с.
101. Колесов В. В. Древнерусский литературный язык / В. В. Колесов. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1989. – 296 с.
102. Колесов В. В. Функция и норма в литературном языке / В. В. Колесов // Вестник Горьковского университета, 1986. – С. 3–11.
103. Кондаков И. В. По ту сторону слова. Кризис литературоцентризма в России XX–XXI веков / И. В. Кондаков // Вопросы литературы. – 2008. – № 5. – С. 5–44.
104. Кони А. Ф. Воспоминания о писателях / А. Ф. Кони. – Москва: Правда, 1989. – 653 с.
105. Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы / А. Ф. Кони. – Москва: Издательство товарищества И. Д. Сытина, 1914. – 414 с.
106. Кони А. Ф. По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и Герминии Акар, обвиняемой в выпуске в обращение таких билетов / А. Ф. Кони // Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3: Судебные речи / А. Ф. Кони. – Москва: Юридическая литература, 1967. – С. 91–117.
107. Кони А. Ф. По делу об убийстве Филиппа Штрама / А. Ф. Кони // Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3: Судебные речи / А. Ф. Кони. – Москва: Юридическая литература, 1967. – С. 158–173.

108. Кони А. Ф. Федор Михайлович Достоевский / А. Ф. Кони // Собрание сочинений. В 8 томах. Т. 6 / А. Ф. Кони. – Москва: Юридическая литература, 1968. – С. 406–427.
109. Кони А.Ф. С. А. Андреевский (По личным воспоминаниям) / А. Ф. Кони // Собрание сочинений. В 8 томах. Т. 5 / А. Ф. Кони. – Москва: Юридическая литература, 1968. – С. 166–183.
110. Кошанский Н. Ф. Риторика / Н. Ф. Кошанский – Москва: Русская панорама; Кафедра, 2013. – 320 с.
111. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / сост. Г. К. Косиков. – Москва: Прогресс, 2000. – С. 427–457.
112. Крысин Л. П. Литературный язык / Л. П. Крысин // Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 17. / отв. ред. Ю. С. Осипов. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2010. – С. 638.
113. Крысин Л. П. Русская литературная норма и современная речевая практика / Л. П. Крысин // Русский язык в научном освещении. – 2007. – № 2 (14). – С. 5–17.
114. Крысько В. Б. Очерки по истории русского языка / В. Б. Крысько. – Москва: Гнозис, 2007. – 423 с.
115. Кудинова Т. А. Стандарт и субстандарт в языке: к обоснованию понятий / Т. А. Кудинова // Научная мысль Кавказа. – 2010. – № 3 (63). – С. 136–139.
116. Лаптева О. А. Теория современного русского литературного языка: учебник / О. А. Лаптева // Москва: Высшая школа, 2003. – 351 с.
117. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.) / Б. А. Ларин. – Москва: Высшая школа, 1975. – 327 с.
118. Левин В. Д. Краткий очерк истории русского литературного языка / В. Д. Левин. – Москва: Просвещение, 1964. – 246 с.

119. Леденева В. В. История русского литературного языка и язык художественной литературы. Учебное пособие / В. В. Леденева, Т. В. Маркелова. – Москва: МГУП им. Ивана Федорова, 2012. – 336 с.
120. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. – Москва: Советская энциклопедия, 1998. – 685 с.
121. Логинова И. В. Отношение российской общественности и власти к мултанскому делу в конце XIX века : автореф. дис. ...канд. ист. наук : 07.00.02 / Ирина Владимировна Логинова ; науч. рук. Ю. А. Перчиков ; Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2002. – 18 с.
122. Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию / М. В. Ломоносов – Москва: Императорский Московский Университет, 1759. – 224 с.
123. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров / Ю. М. Лотман // Семиосфера / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург: Искусство, 2010. – С. 150–390.
124. Лотман Ю. М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина (проблема авторских примечаний к тексту) / Ю. М. Лотман // Пушкин и его современники. Ученые записки. Т. 434 / Кафедра литературы Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова. – Псков: Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, 1970. – С. 101–110.
125. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – Москва: Искусство, 1970. – 383 с.
126. Лотман Ю. М. Тезисы к семиотике русской культуры / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2002. – С. 226–236.
127. Лукин В. В. Опыт практического руководства, к производству уголовных следствий и уголовного суда, по русским законам, составленный

для следователей, судей и стряпчих Василием Лукиным / В. В. Лукин. – Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1851. – 475 с.

128. Магомедова Д. М. Полифония / Д. М. Магомедова // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / ред. Н.Д. Тамарченко. – Москва: Издательство Кулагиной : Intrada, 2008. – С. 174–176.

129. Марков М. А. Ф.М. Достоевский как криминалист в оценке А. Ф. Кони / М. А. Марков // Вологдинские чтения. – 2006. – № 60. – С. 26–28.

130. Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка / В. Матезиус // Пражский лингвистический кружок / ред. Н. А. Кондрашов. – Москва: Прогресс, 1967. – С. 378–393.

131. Махов А. Е. «Историческая топка»: раздел риторики или область компаративистики? / А. Е. Махов // Вопросы литературы. – 2011. – № 4. – С. 275–289.

132. Мелетинский Е. С. Заметки о творчестве Достоевского / Е. С. Мелетинский. – Москва: РГГУ, 2001. – 190 с.

133. Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы / Д. С. Мережковский. – Санкт-Петербург: Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1893. – 192 с.

134. Мещерский Н. А. История русского литературного языка / Н. А. Мещерский. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1981. – 279 с.

135. Москвин В. П. Аргументативная риторика / В. П. Москвин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 637 с.

136. Москвин В. П. Топика и инвенция / В. П. Москвин // Русская речь. – 2010. – № 2. – С. 33–42.

137. Москвин В. П. Топика и инвенция / В. П. Москвин // Русская речь. – 2010. – № 2. – С. 33–42.

138. Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтический язык / Мукаржовский Я. // Пражский лингвистический кружок / ред. Н. А. Кондрашов. – Москва: Прогресс, 1967. – С. 406–431.

139. Набоков В. Работы по составлению судебных уставов. Общая характеристика судебной реформы / В. Набоков // Судебная реформа. Т. 1 / ред. Н. В. Полянский, Н. Н. Давыдов. – Москва: Книгоиздательство «Объединение», 1915. – 381 с.

140. Начерная С. В. Топосы – «общие места»: теоретическое осмысление проблемы / С. В. Начерная // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2010. – № 1. – С. 313–326.

141. Обнорский С. П. Русский литературный язык старейшей поры / С. П. Обнорский. – Москва: URSS, 2015. – 200 с.

142. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / ред. Б. А. Серебренников – Москва: Наука, 1970. – 604 с.

143. Орлова О. В. Проблема соотношения понятий стиля и дискурса в лингвистике начала XXI в. в контексте идей М.Н. Кожинной / О. В. Орлова // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2013. – № 4 (24). – С. 19–25.

144. Панов М. В. О литературном языке / М. В. Панов // Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1. / М. В. Панов, ред. Е. А. Земская и С. М. Кузьмина. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – С. 88–102.

145. Плевако Ф. Н. Дело люторических крестьян, обвиняемых в сопротивлении властям. Речь в защиту подсудимых / Ф. Н. Плевако // Речи. Т 1. / Ф. Н. Плевако, ред. Н. К. Муравьева. – Москва: Типография В. М. Саблина, 1912. – С. 300–312.

146. Плевако Ф. Н. Речь в защиту князя Грузинского / Ф. Н. Плевако // Избранные речи / Ф. Н. Плевако. – Москва: Юридическая литература, 1993. – С. 402–415.

147. Плевако Ф. Н. Речь в защиту С. И. Мамонтова / Ф. Н. Плевако // Избранные речи / Ф. Н. Плевако. – Москва: Юридическая литература, 1993. – С. 261–280.

148. Плевако Ф. Н. Речь Ф. Н. Плевако в защиту Качки / Ф. Н. Плевако // Избранные речи / Ф. Н. Плевако. – Москва: Юридическая литература, 1993. – С. 334–341.

149. Повесть о Ерше Ершовиче // Русская демократическая сатира XVII в. / сост. В. П. Адрианова-Перетц. – Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1954 г. – С. 7–19.

150. Повесть о Шемякином суде // Русская демократическая сатира XVII в. / сост. В. П. Адрианова-Перетц. – Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1954 г. – С. 20–29.

151. Поливанов Е. Д. К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайским) / Е. Д. Поливанов // Избранные работы / Е. Д. Поливанов, ред. Н. И. Конрад. – Москва: Наука, 1968. – С. 146–155

152. Поливанов Е. Д. О фонетических признаках социально-групповых диалектов и, в частности, русского стандартного языка / Е. Д. Поливанов // Избранные работы / Е. Д. Поливанов, ред. Н. И. Конрад. – Москва: Наука, 1968. – С. 206–225.

153. Поливанов Е. Д. Русский язык как предмет грамматического описания / Е. Д. Поливанов // За марксистское языкознание / Е. Д. Поливанов. – Москва: Федерация, 1931. – С. 54–67

154. Пыпин А. Н. История славянских литератур / А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович. – Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1879. – 460 с.

155. Пырков И. В. А.П. Чехов и юриспруденция: о некоторых этических и собственно правовых аспектах проблемы / И. В. Пырков // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 3 (116). – С. 11–16.

156. Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики / Ю. В. Рождественский. – Москва: Флинта, Наука, 2003. – 176 с.

157. Рождественский Ю. В. Теория риторики / Ю. В. Рождественский. – Москва: Добросвет, 1997. – 597 с.

158. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – Москва: Просвещение, 1985. – 399 с.
159. Руднев В. П. Полифонический роман / В. П. Руднев // Словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты / В. П. Руднев. – Москва: Аграф, 1999. – С. 215–217.
160. Русская грамматика. Т. 2: Синтаксис / ред. Н.Ю. Шведовой. – Москва: Наука, 1980. – 709 с.
161. Русский биографический словарь: Кнаппе-Кюхельбекер. Т. 9 / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического общества А.А. Половцова. – Санкт-Петербург: Типография Главного управления уделов, 1903. – 708 с.
162. Русский язык. Энциклопедия / ред. Ю.Н. Караулов. – Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН; Большая Энциклопедия; Дрофа, 1997. – 703 с.
163. Салтыков-Щедрин М. Е. Господа ташкентцы / М. Е. Салтыков-Щедрин // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3 / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Правда, 1988. – С.67–358.
164. Салтыков-Щедрин М. Е. Мелочи жизни / М. Е. Салтыков-Щедрин // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 9 – Москва: Правда, 1988. – С. 65–438.
165. Салтыков-Щедрин М. Е. Напрасные опасения (По поводу современной беллетристики) / М. Е. Салтыков-Щедрин // Собрание сочинений. В 20 т. Т. 9 / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Художественная литература, 1970. – С. 7–35.
166. Салтыков-Щедрин М. Е. Современная идиллия / М. Е. Салтыков-Щедрин // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 8 / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Москва: Правда, 1988. – С. 5–314.
167. Селищев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) / А. М. Селищев. – Москва: Работник просвещения, 1928. – 248 с.

168. Смолярчук В. И. Гиганты и чародеи слова: Русские судебные ораторы второй половины XIX – начала XX века / В. И. Смолярчук. – Москва: Юридическая литература, 1984. – 272 с.

169. Соболевский А. И. История русского литературного языка / А. И. Соболевский. – Ленинград: Наука, 1980. – 192 с.

170. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2005. – 256 с.

171. Солганик Г. Я. Стилистика текста / Г. Я. Солганик. – Москва: Флинта, 2001. – 256 с.

172. Спасович В. Д. Дело Давида и Николая Чхотуа и др. (Тифлисское дело) / В. Д. Спасович // Судебные речи известных русских юристов. Сборник / ред. М. М. Выдря. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С. 586–652.

173. Спасович В. Д. Дело о банкире К., обвинявшемся в истязании своей семилетней дочери / В. Д. Спасович // Сочинения В. Д. Спасовича. Т. 6: Судебные речи (1875–1882) / В. Д. Спасович. – Санкт-Петербург: Типография С. Корнатовского, 1894. – С. 49–71.

174. Спасович В. Д. Дело о государственном преступлении, так называемое «нечаевское»: Речь в защиту Алексея Кузнецова / В. Д. Спасович // Судебные речи / В. Д. Спасович. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 255–284.

175. Спасович В. Д. Дело о государственном преступлении, так называемое «нечаевское»: Речь в защиту Петра Ткачева / В. Д. Спасович // Судебные речи / В. Д. Спасович. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 284–294.

176. Спасович В. Д. Дело о государственном преступлении, так называемое «нечаевское»: Речь в защиту Елизаветы Томиловой / В. Д. Спасович // Судебные речи / В. Д. Спасович. – Москва: Издательство Юрайт, 2010. – С. 294–305.

177. Спасович В. Д. Дело о дочери титулярного советника Островлевой и крестьянине Худине, обвинявшихся в разбое / В. Д. Спасович // Сочинения В.Д. Спасовича. Т. 7: Судебные речи (1883–1892) / В. Д. Спасович. – Санкт-Петербург: Типография товарищества «Екатерингофское печатное дело», 1913. – С. 1–58.
178. Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова / А. Д. Степанов. – Москва: Языки славянской культуры, 2005. – 400 с.
179. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца XX века. Сборник статей / ред. Ю. С. Степанов. – Москва: РГГУ, 1995. – С. 35–73.
180. Судавичене Л. В. История русского литературного языка / Л. В. Судавичене, Н. Я. Сердобинцев, Ю. Г. Кадькалов. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 319 с.
181. Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. Второе дополненное издание. Ч. 1. / Государственная канцелярия. – Санкт-Петербург: Типография Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867. – 713 с.
182. Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 1. / М. И. Сухомлинов. – Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1874. – 427 с.
183. Сысоева В. В. Нарративный потенциал несобственно-прямой речи в художественном тексте : автореф. дисс. ...канд. филол. наук : 10.02.01 / Валентина Владимировна Сысоева ; науч. рук. С. В. Ушакова ; Белгородский государственный университет. – Белгород, 2004. – 23 с.
184. Тимофеев А. Г. Судебное красноречие в России. Критические очерки / А. Г. Тимофеев. – Санкт-Петербург: Книжный Магазин А. Ф. Цинзерлинга, 1900. – 182 с.
185. Толстой Л. Н. Анна Каренина / Л. Н. Толстой – Москва: Наука, 1970. – 909 с.

186. Толстой Л. Н. В чем моя вера? / Л. Н. Толстой // Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 23 / Л. Н. Толстой. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1957. – С. 304–465.
187. Толстой Л. Н. Воскресение / Л. Н. Толстой. – Санкт-Петербург: Типография А. Ф. Маркса, 1900. – 581 с.
188. Толстой Л. Н. Живой труп / Л. Н. Толстой // Собрание сочинений. В 20 т. Т. 11 / Л. Н. Толстой. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1963. – С. 319–388.
189. Толстой Н. И. Труды В.В. Виноградова по истории русского литературного языка / Н. И. Толстой // Избранные труды. История русского литературного языка / В.В. Виноградов, ред. Н. И. Толстой. – Москва: Наука, 1978. – С. 1–9.
190. Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре / Н. С. Трубецкой // Вопросы языкознания. – 1990. – № 2. – С. 122–139.
191. Урусов А. И. Убийство Марии Дричь / А. И. Урусов // Речи Кн. А. И. Урусова. – Москва: Издание журнала «Судебные драмы», 1901. – С. 133–171.
192. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.) / Б. А. Успенский. – Москва: Аспект Пресс, 2002. – 558 с.
193. Федоров К. В. Зарудный и подготовка судебной реформы 1864 г. / К. В. Федоров, Т. Р. Суздалева // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 12–1. – С. 33–38.
194. Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка / Ф. П. Филин. – Москва: Наука, 1981. – 325 с.
195. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – Москва: Русский язык, 2002. – 216 с.
196. Хазагерев Г. Г. Политическая риторика / Г. Г. Хазагерев. – Москва: Никколо-Медиа, 2002. – 313 с.

197. Хазагеров Г. Г. Топос vs. концепт: К изучению топосферы культуры / Г. Г. Хазагеров // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2008. – № 3. – С. 6–26.
198. Хазагеров Г. Г. Коммуникативная культура в свете противопоставления полемического и проповеднического начал / Г. Г. Хазагеров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. Т. 21. – 2017. – № 2. – С. 348–361.
199. Хазагеров Г. Г. Риторический словарь / Г. Г. Хазагеров. – Москва: Флинта, 2009. – 432 с.
200. Хазагеров Г. Г. Троянский конь эпидейктического красноречия: к теории пропаганды / Г. Г. Хазагеров // Коммуникативные исследования. Т. 7. – 2020. – № 3. – С. 515–528.
201. Хазагеров Г. Г. Топосы в контексте преподавания и практического применения / Г. Г. Хазагеров // Вестник ХГУ им. Н. Ф. Катанова. – 2017. – № 19. – С. 49–54.
202. Хартулари К. Ф. Дело Левенштейн / К. Ф. Хартулари // Судебные речи известных русских юристов. Сборник. / ред. М. М. Выдря. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С. 792–803.
203. Хартулари К. Ф. Дело Маргариты Жюжан / К. Ф. Хартулари // Судебные речи известных русских юристов. Сборник. / ред. М. М. Выдря. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С. 767–782.
204. Цицерон М. Т. Брут, или О знаменитых ораторах / М. Т. Цицерон. – Москва: Наука, 1972. – URL: <http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1423777004> (дата обращения: 01.02.2022).
205. Цицерон М. Т. Топика / М. Т. Цицерон // Эстетика: трактаты, речи. Письма / М. Т. Цицерон. – Москва: Искусство, 1994. – С. 56–81.
206. Чалхушьян Гр. Идеалы французской адвокатуры / Гр. Чалхушьян. – Санкт-Петербург: Типография Бермана и Рабиновича, 1891. – 89 с.

207. Чехов А. П. В суде (Примечания) / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 5 / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1985. – С. 655–658.
208. Чехов А. П. В суде / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 5 / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1985. – С. 343–349.
209. Чехов А. П. Дело Рыкова и комп. / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 16. / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1987 г. – С. 179–21.
210. Чехов А. П. Письмо Суворину А. С., 27 ноября 1894 / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 5. / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1977. – С. 399–340.
211. Чехов А. П. Письмо Чехову Ал. П. 10 мая 1886 / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т.1 (Письма) / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1974. – С. 241–243.
212. Чехов А. П. Сильные ощущения / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т. 5. / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1985. – С. 108–112.
213. Чехов А. П. Случай из судебной практики / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. Т.2. / А. П. Чехова. – Москва: Наука, 1983. – С. 86–88.
214. Чистякова О. А. Филологическая наука и литературная критика в журнале «Вестник Европы» : автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.01.01 / Чистякова Ольга Александровна ; науч. рук. Н. В. Володина ; Вологодский гос. пед. ун-т. – Вологда, 2010. – 16 с.
215. Чуковский К. И. А. Ф. Кони / К. И. Чуковский // Собрание сочинений. В 15 т. Т. 5 / К. И. Чуковский. – Москва: Агенство ФТМ, Лтд., 2012. – 480 с.
216. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка / А. А. Шахматов // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11 /

ред. И. В. Ягич. – Петроград: Типография Императорской Академии наук, 1915. – 367 с.

217. Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка: курс, читанный в С.-Петербургском университете в 1911–12 уч. году / А. А. Шахматов. – Санкт-Петербург: Студенческий издательский комитет при Историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, 1913. – 297 с.

218. Шахматов А. А. Русский язык и русская литература / А. А. Шахматов // Энциклопедический словарь. Т. XXVIII. / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. – Санкт-Петербург, 1899. – С. 564–581.

219. Шахматов А. А. Русский язык, его особенности. Вопрос об образовании наречий. Очерк основных моментов развития литературного языка / А. А. Шахматов // История русской литературы до XIX в. Т. 1 / ред. А. Е. Грузинский, А. Н. Овсянко-Куликовский, П. Н. Сакулина. – Москва: Товарищество «Мир», 1916. – С. 39–63.

220. Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии / А. Д. Швейцер. – Москва: Высшая школа, 1971. – 199 с.

221. Шкловский В. Б. Искусство как прием / В. Б. Шкловский // О теории прозы / В. Б. Шкловский. – Москва: Федерация, 1929. – С. 7–24.

222. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. – Москва: Государственное Учебно-Педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1957. – С. 113–130.

223. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – Москва: УРСС, 2004. – 428 с.

224. Энциклопедический словарь-справочник терминов и понятий. Т. 1 / ред. А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов. – Москва: Флинта, 2014. – 840 с.

225. Якубинский Л. П. Краткий очерк зарождения и первоначального развития русского национального литературного языка (XV–XVII века) /

Л. П. Якубинский // Избранные работы. Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский. – Москва: Наука, 1986. – С. 128–158.

226. Ågerup K. Didafictions: Littéarité, didacticité et interdiscursivité dans douze romans de Robert Bober, Michel Houellebecq et Yasmina Khadra / Karl Ågerup ; sup. B. Novén, R. Lysell ; Stockholm University. – Stockholm, 2013. – 226 p.

227. Alfieri, G. Giovanni Verga / G. Alfieri // Enciclopedia dell’Italiano: [website]. – 2011. – URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-verga\\_\(Enciclopedia-dell%27Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-verga_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/) (дата обращения: 17.12.2021).

228. Ariel M. Discourse, grammar, discourse / M. Ariel // Discourse Studies. – 2009. – No. 1 (Vol. 11). – Pp. 5–36.

229. Bako A. Blended Spaces in Mircea Cărtărescu’s novel «Blinding. The Left Wing» / A. Bako // World Literature Studies. – 2021. – № 4 (Vol. 13). – Pp. 106–116.

230. Bally Ch. Traité de stylistique française. Premier volume / Ch. Bally. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1921. – 331 p.

231. Bartesaghi M. Interdiscursivity / M. Bartesaghi, C. Noy // The International Encyclopedia of Language and Social Interaction / ed. by K. Tracy, C. Ilie and T. Sandel. – Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2015. – Pp. 1–7.

232. Berruto G. Italiano standard / G. Berruto // Enciclopedia dell’Italiano : [website]. – 2010. – URL: [https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-standard\\_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-standard_(Enciclopedia-dell'Italiano)/) (дата обращения: 30.07.2021).

233. Bhatia V. K. Interdiscursivity in Professional Discourse / V. K. Bhatia // Discourse & Communication. – 2010. – Iss. 1 (Vol. 4). – Pp. 32–50.

234. Bitzer L. F. The Rhetorical Situation / L. F. Bitzer // Philosophy and Rhetoric. – 1968. – Vol. 1. – Pp. 1–14.

235. Blackledge A. Discourse and power / A. Blackledge // The Routledge Handbook of Discourse Analysis / ed. by J. P. Gee and M. Handford. – London; New York: Routledge, 2012. – Pp. 616–627.

236. Bloom H. *Shakespear: The Invention of the Human* / H. Bloom. – New York: Riverhead Books, 1998. – 768 p.
237. Bormann D. R. *Enargeia: A Concept for All Seasons* / D. R. Bormann // *Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies*. – 1977. – Iss. 432. – Pp. 155–159.
238. Breal M. *Essai de sémantique (science des significations)* / M. Breal. – Paris: Librairie Hachette, 1897. – 349 p.
239. Bussmann H. *Routledge Dictionary of Language and Linguistics* / H. Bussman, ed. by Gregory P. Trauth and Kerstin Kazzazi. – London; New York: Routledge, 2006. – 1304 p.
240. Candling, C. *Intertextuality and Interdiscursivity in the Discourse of Alternative Dispute Resolution* / C. Candling, Y. Maley // *The Construction of Professional Discourse* / ed. by B. Gunnarsson, P. Linell and B. Nordberg. – London: Longman, 1997. – Pp. 201–222.
241. Canning P. *Functionalist stylistics* / P. Canning // *The Routledge Handbook of Stylistics* / ed. by M. Burke. – London; New York: Routledge, 2014. – Pp. 45–67.
242. Carrère d'Encausse H. *L'Académie française: pouvoir intellectuel, pouvoir politique, une relation compliquée. Conférence prononcée à l'exposition universelle de Shanghai (Pavillon français, le 23 septembre 2010)* / H. Carrère d'Encausse // *Académie française* : [website]. – 2010. – URL: <https://www.academie-francaise.fr/lacademie-francaise-pouvoir-intellectuel-pouvoir-politique-une-relation-compliquee-conference> (дата обращения: 28.07.2021).
243. Chouliaraki L. *Rethinking Critical Discourse Analysis* / L. Chouliaraki, N. Fairclough. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 1999. – 168 p.
244. Cope E. M. *An Introduction to Aristotle's Rhetoric with Analysis Notes and Appendices* / E. M. Cope. – London; Cambridge: Macmillan and Co., 1867. – 464 p.

245. Copeland R. *Medieval Grammar and Rhetoric: Language Arts and Literary Theory, AD 300–1474* / R. Copeland, I. Sluiter. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 992 p.
246. Copeland R. *Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages. Academic Traditions and Vernacular Texts* / R. Copeland. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 295 p.
247. Crystal D. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Sixth Edition* / D. Crystal. – Oxford; Malden; Carlton: Blackwell Publishing, 2008. – 529 p.
248. Crystal D. *First Recorded Lexical Usage in English, with Particular Reference to Charles Dickens* / D. Crystal // *Studies in Modern English*. – 2019. – Vol. 35. – Pp. 1–33.
249. Curtius E. R. *European Literature and the Latin Middle Ages* / E. R. Curtius. – New York and Evaston: Harper & Row, 1963. – 658 p.
250. Dijk T. A. van. *Studies in The Pragmatics of Discourse* / T. A. van Dijk. – The Hague: Mouton, 1981. – 331 p.
251. Dijk T. A. van. *What is Political Discourse Analysis?* / T. A. van Dijk // *Belgian Journal of Linguistics*. – 1997. – Vol. 11 (Issue 1). – Pp. 11–52.
252. Dranenko G. *Implications poétiques et politiques des retraductions des œuvre de Gustave Flaubert en URSS* / G. Dranenko // *Revue Flaubert*. – 2018. – № 17. – URL: <https://flaubert.univ-rouen.fr/revue/article.php?id=274> (дата обращения: 20.11.2021).
253. Dubois J. *Dictionnaire de linguistique* / J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin. – Paris: Larousse-Bordas, 2002. – 514 p.
254. Dugan J. *How to Make (and Break) a Cicero: Epideixis, Textuality, and Self-fashioning in the Pro Archia and In Pisonem* / J. Dugan // *Classical Antiquity*. – 2001. – № 1 (Vol. 20). – Pp. 35–77.
255. Dyck E. F. *Topos and the Rhetoric of Prairie Poetry: PhD thesis* / Edward F. Dyck : University of Manitoba. – Winnipeg, Canada, 1988. – 369 p.

256. Fairclough N. Critical discourse analysis / N. Fairclough // The Routledge Handbook of Discourse Analysis / ed. by J.P. Gee and M. Handford. – London; New York: Routledge, 2012. – Pp. 9–20.
257. Foucault M. L'archéologie du savoir / M. Foucault. – Paris: Gallimard, 2008. – 294 p.
258. García Agustín Ósc. Sociology of Discourse: From Institutions to Social Change (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture) / Ó. Agustín García. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015. – 228 p.
259. Gross A. G. Rereading Aristotle's Rhetoric / A. G. Gross, A. E. Walzer. – Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008. – 256 p.
260. Harris Z.S. Discourse Analysis / Z. S. Harris // Language. – 1952. – № 1 (Vol. 28). – Pp. 1–30.
261. Harsting P. The Discovery of Late-Classical Epideictic Theory in the Italian Renaissance / P. Harsting // Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. Volume 1 / ed. by P. Harsting and S. Ekman. – Copenhagen: NNRH, 2002. – Pp. 39–53.
262. Heinrichs J. Thank You for Arguing / J. Heinrichs. – London: Penguin Random House, 2017. – 436 p.
263. Hiltunen T. Investigating colloquialization in the British parliamentary record in the late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> century / T. Hiltunen, J. Räikkönen, J. Tyrkk // Language Sciences. – 2020. – Vol. 79. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000120300024> (дата обращения: 10.01.2022).
264. Kapović M. Čiji je jezik? / M. Kapović. – Zagreb: Algoritam, 2010. – 183 p.
265. Kennedy G. A. A New History of Classical Rhetoric / G. A. Kennedy. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994. – 301 p.

266. Khazagerov G. G. Rhetorical Platform and the Development of the Russian Literary Language: Judicial Oratory / G. G. Khazagerov, A. A. Bondareva // *Communication Studies*. – 2019. – № 2 (Vol. 6). – Pp. 292–304.
267. Khazagerov G.G. Fyodor Dostoevsky and Forensic Oratory / G. G. Khazagerov, A. A. Bondareva // *Communication Studies*. – 2021. – № 1 (Vol. 8) – Pp. 659–670.
268. Kress G. Multimodal discourse analysis / G. Kress // *The Routledge Handbook of Discourse Analysis* / ed. by J.P. Gee and M. Handford. – London; New York : Routledge, 2012. – Pp. 35–50.
269. Krūminienė J. Generic Challenges: English Epithalamic Tradition and Its Deconstruction (The Case of John Donne) / J. Krūminienė // *Respectus Philologicus*. – 2017. – № 32 (37). – Pp. 9–19.
270. Krummen E. Epithalamum / E. Krummen, D. Russel // *Oxford Classical Dictionary*: [website]. – URL: <https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-2462> (дата обращения: 22.08.2021).
271. Krzyżanowski M. The Discursive Construction of European Identities: A Multi-level Approach to Discourse and Identity in the Transforming European Union / M. Krzyżanowski. – Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2010. – 234 p.
272. Langston K. Language Planning and National Identity in Croatia / K. Langston, A. Peti-Stantic. – New York: Palgrave Macmillan, 2014. – 361 p.
273. Lauer J. M. Invention in Rhetoric and Composition / J. M. Lauer. – West Lafayette, Indiana: Parlor Press, 2004. – 257 p.
274. Leech G. Language in Literature: Style and Foregrounding / G. Leech. – London; New York: Routledge, 2008. – 222 p.
275. Leff M. Up from Theory: Or I Fought the Topoi and the Topoi Won / M. Leff // *Rhetoric Society Quarterly*. – 2006. – № 2 (Vol. 36). – Pp. 203–211.
276. Lindsay S.A. Burke, Perelman, and the Transmission of Values: The Beatitudes as Epideictic Topoi / S. Lindsay // *The Journal of the Kenneth Burke*

Society. – 2015. – Iss. 1 (Vol. 11). – URL: [https://kbjournal.org/lindsay\\_burke\\_perelman](https://kbjournal.org/lindsay_burke_perelman) (дата обращения: 07.01.2022).

277. Lunde I. Rhetorical *Enargeia* and Linguistic Pragmatics: On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics / I. Lunde // *Journal of Historical Pragmatics*. – 2004. – № 1 (Vol. 5). – Pp. 49–80.

278. Luperini R. Il verismo italiano fra naturalismo francese e cultura europea / R. Luperini. – San Cesario di Lecce: Manni, 2007. – 152 p.

279. Mair C. Current changes in English syntax / C. Mair, G. Leech // *The Handbook of English Linguistics* / ed. by B. Aarts and A. McMahon. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2006. – Pp. 318–342.

280. Matthews P. H. *The Concise Oxford Dictionary of Linguistics*. Second Edition / P. H. Matthews. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 443 p.

281. McCown G. “Runnawayes Eyes” and Juliet’s Epithalamium / G. McCown // *Shakespeare Quarterly*. – 1976. – Vol. 27 (Issue 2). – Pp. 15–170.

282. Miles J. A Change in the Language of Literature / J. Miles // *Eighteenth-Century Studies*. – 1968. – № 1 (Vol. 2). – Pp. 35–44.

283. Moser W. Robert Musil. La mise à l’essai du roman / W. Moser. – Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2019. – 220 p.

284. Murphy J. J. Cicero’s Rhetoric in the Middle Ages / J. J. Murphy // *Quarterly Journal of Speech*. – 1967. – Iss. 4 (Vol. 53). – Pp. 334–341.

285. Mustajoki A. Challenges in the Standardisation of Contemporary Russian / A. Mustajoki // *Prescription and Tradition in Language* / ed. by Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy. – Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, 2016. – Pp. 288–302.

286. Mutter R. P. C. English Literature / R. P. C. Mutter // *Encyclopedia Britannica*: [website]. – URL: <https://www.britannica.com/art/English-literature> (дата обращения: 22.08.2021).

287. *Natural Histories of Discourse* / ed. by M. Silverstein and G. Urban. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1996. – 362 p.

288. Ong W. *The Presence of the Word* / W. Ong. – New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1967. – 378 p.
289. Pepe Cr. (Re)discovering a Rhetorical Genre: Epideictic in Greek and Roman Antiquity / Cr. Pepe // *Res Rhetorica*. – 2017. – Vol. 4 (Issue 1). – Pp. 17–31.
290. Pepe Cr. *The Genres of Rhetorical Speeches in Greek and Roman Antiquity* / Cr. Pepe. – Leiden; Boston: Brill, 2013. – 636 p.
291. Perelman C. *Rhétorique. Bruxelles* / C. Perelman. – Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2012. – 401 p.
292. Perelman C. *Traité de l'argumentation* / C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca. – Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2008. – 740 p.
293. Piromalli A. *Il verismo e l'arte di Giovanni Verga* / A. Piromalli // *Storia della letteratura italiana*: [website]. – URL: <http://www.storiadellaletteratura.it/main.php?cap=18&par=4> (дата обращения: 17.12.2021).
294. Rapp C. *Aristotle's Rhetoric* / C. Rapp // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* / ed. by Edward N. Zalta. – 2010. – URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/aristotle-rhetoric/> (дата обращения: 02.01.2022).
295. Ren W. *Analyzing Interdiscursivity in Legal Genres. The case of Chinese Lawyers' Written Opinions* / W. Ren, V. K. Bhatia, Z. Han // *Pragmatics and Society*. – 2020. – № 4 (Vol. 11). – Pp. 615–639.
296. Rheindorf M. *Genre-related language change: Discourse- and corpus-linguistic perspectives on Austrian German 1970–2010* / M. Rheindorf, R. Wodak // *Folia Linguistica*. – 2019. – № 1 (Vol. 53). – Pp. 125–167.
297. Rosenfield L.W. *The Practical Celebration of Epideictic* / L. W. Rosenfield // *Rhetoric in Transition: Studies in the Nature and Uses of Rhetoric* / ed. by E.E. White. – University Park, PA: Pennsylvania State University, 1990. – Pp. 131–155.

298. Rubinelli S. Aristotle's Classification of Topoi / S. Rubinelli // *Revue internationale de philosophie*. – 2014. – № 4 (Vol. 270). – Pp. 433–445. – URL: <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2014-4-page-433.htm> (дата обращения: 7.02.2022).
299. Rubinelli S. *Ars Topica. The Classical Technique of Constructing Arguments from Aristotle to Cicero* / S. Rubinelli. – Berlin: Springer, 2009. – 160 p.
300. Sawbones // *Merriam–Webster Dictionary*: [website]. – URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sawbones> (дата обращения: 30.12.2021).
301. Statuts et règlements // *Académie française*: [website]. – URL: <https://www.academie-francaise.fr/linstitution/statuts-et-reglements> (дата обращения: 28.06.2021).
302. *The Oxford Classical Dictionary. Third edition* / ed. by S. Hornblower and A. Spawforth. – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 1640 p.
303. Titscher S. *Methods of Text and Discourse Analysis* / S. Titscher, R. Meyer, R. Wodak – London: Sage, 2000. – 288 p.
304. Toscanella O. *Armonia di tutti principali retori, et migliori scrittori degli antichi et nostril tempi* / O. Toscanella. – Venezia: Giovanni Varisco, 1569.
305. Unbegaun B. O. *The Russian Literary Language: A Comparative View* / B. O. Unbegaun // *The Modern Language Review*. – 1973. – Vol. 68 (№ 4). – Pp. xix–xxv.
306. Vatan F. *Walter Moser, Robert Musil. La mise à l'essai du roman*, Paris (Éditions de la Maison des sciences de l'homme) 2019 (review) / F. Vatan // *Francia-Recensio*. – 2020. – № 3. – URL: <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/frrec/article/view/75681> (дата обращения: 13.01.2022).
307. Walker J. *Aristotle's Lyric: Re-Imagining the Rhetoric of Epideictic Song* / J. Walker // *College English*. – 1989. – № 1 (Vol. 51) – Pp. 5–28.
308. Walker J. *Rhetoric and Poetics in Antiquity* / J. Walker. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 396 p.

309. Webb R. Rhetorical and Theatrical Fictions in Chorikios of Gaza / R. Webb. // Harvard; The Center for Hellenic Studies: [website]. – URL: <https://chs.harvard.edu/chapter/ruth-webb-rhetorical-and-theatrical-fictions-in-chorikios-of-gaza/> (дата обращения: 07.01.2022).

310. Wu J. Understanding interdiscursivity: A Pragmatic Model? / J. Wu // Journal of Cambridge Studies. – 2011. – № 2–3 (Vol. 6). – Pp. 95–115.

311. Žagar I. Topoi in Critical Discourse Analysis / I. Žagar // Lodz Papers in Pragmatics. – 2010. – № 1 (Vol. 6) – Pp. 3–27.

312. Zurcher A. Spenser and Archaism / A. Zurcher // Nap Hazard: A Manuscript Resource for Spenser Studies: [website]. – URL: <https://www.english.cam.ac.uk/ceres/haphazard/extra/language/> (дата обращения: 22.08.2021).